

Перформативы – констативы

●
Намерение и конвенция
в речевых актах

●
Что такое речевой акт?

●
Значение говорящего, значение
предложения и значение слова

●
Вопросы теории
порождающей грамматики

Дж. Л. Остин • П. Ф. Стросон • Г. П. Грайс • Н. Хомский • Дж. Катц • Х. Пугнам • Н. Гудман

ФИЛОСОФИЯ РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ ДЖ. Р. СЁРЛ ЯЗЫКА

●
Философская релевантность
языковой теории

●
Современные исследования
по теории врожденных идей

●
«Гипотеза врожденности»
и объяснительные модели в лингвистике

●
Эпистемологический спор



VRSS

ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА

THE PHILOSOPHY OF LANGUAGE

**Edited by
J. R. SEARLE**

Oxford University Press

ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА

Редактор-составитель
ДЖ. Р. СЕРЛ

Перевод с английского
*И. М. Кобозевой,
Г. Е. Крейдлина,
Т. А. Майсака,
И. Г. Сабуровой*

Издание второе

МОСКВА



URSS

Философия языка / Ред.-сост. Дж. Р. Сёрл. Пер. с англ. Изд. 2-е. —
М.: Едиториал УРСС, 2010. — 208 с.

Предлагаемая читателю книга составлена известным американским философом и лингвистом Джоном Роджерсом Сёрлом и содержит статьи по различным проблемам философии языка видных ученых — Дж. Л. Остина, П. Ф. Стросона, Г. П. Грайса, Н. Хомского, Дж. Катца, Х. Путнама и Н. Гудмана. Среди поднимаемых проблем — понятие речевого акта и соотношение значения и речевого акта; теория трансформационных порождающих грамматик и её значение для философии; обсуждение гипотезы о врожденном характере идей и эмпирической теории синтаксиса естественных языков, предложенной Хомским.

Книга будет интересна лингвистам всех специальностей, философам, психологам.

Ответственный редактор русского перевода В. Д. Мазо

Издательство «Едиториал УРСС».

117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 9.


Формат 60×84/16. Печ. л. 13. Заг. № 3-1165/369.

Отпечатано в ООО «РОХОС».

117312, Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, 9.

ISBN 978-5-354-01214-5

© Едиториал УРСС, 2004, 2009

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА	
	E-mail: URSS@URSS.ru
	Каталог изданий в Интернете:
	http://URSS.ru
	Тел./факс: 7 (499) 135-42-16
URSS	Тел./факс: 7 (499) 135-42-46

6950 ID 93573



9 785354 012145

Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельца.

Содержание

Дж. Р. Сёрл. Введение. Перевод Г. Е. Крейдлина	6
I. Дж. Л. Остин. Перформативы — констативы. Перевод Г. Е. Крейдлина	23
II. П. Ф. Стросон. Намерение и конвенция в речевых актах. Перевод И. Г. Сабуровой	35
III. Дж. Р. Сёрл. Что такое речевой акт? Перевод И. М. Кобозевой	56
IV. Г. П. Грайс. Значение говорящего, значение предложения и значение слова. Перевод Г. Е. Крейдлина	75
V. Н. Хомский. Вопросы теории порождающей грамматики. Перевод Т. А. Майсака	99
(a) Основные положения и цели	99
(b) Теория трансформационной порождающей грамматики	116
VI. Дж. Кэти. Философская релевантность языковой теории. Перевод Г. Е. Крейдлина	141
VII. Симпозиум по врожденным идеям	167
(a) Н. Хомский. Современные исследования по теории врожденных идей. Перевод Т. А. Майсака	167
(b) Х. Путнам. «Гипотеза врожденности» и объяснительные модели в лингвистике. Перевод Т. А. Майсака	178
(c) Н. Гудман. Эпистемологический спор. Перевод Т. А. Майсака	191
Цитированная литература	198
Библиография	202
Именной указатель	205

Введение

Дж. Р. Сёрл

Важно различать философию языка и лингвистическую философию. Лингвистическая философия складывается из попыток решить философские проблемы путем анализа значений слов естественных языков и логических отношений между словами. Такой анализ можно использовать при обсуждении традиционных вопросов философии, например проблем детерминизма, скептицизма или каузации, впрочем, можно, специально не обращаясь к *традиционным* философским проблемам, изучать понятия как отдельные и интересные объекты исследования, как способ проникнуть в мир, строя классификации и проводя отождествления и различения в языке, которым мы пользуемся для характеристики и описания мира. Философия языка складывается из попыток проанализировать самые общие языковые единицы и отношения, такие как значение, референция, истина, верификация, речевой акт или логическая необходимость.

Если «философия языка» — это название объекта изучения, заголовков темы внутри философии, то «лингвистическая философия» — это, в первую очередь, название философского метода. Однако метод и объект очень тесно связаны. Философия языка и лингвистическая философия связаны тесно не только потому, что к некоторым проблемам философии языка можно с успехом подойти, применяя методы и приемы лингвистической философии (речь идет, например, о таких проблемах, как природа истины, которую, по крайней мере частично, можно представлять как серию вопросов, относящихся к анализу понятия «истинный»), но и потому — а это гораздо важнее, — что методы, которыми пользуются лингвистические философы в своих исследованиях языка, в очень сильной степени зависят от их философских взглядов на язык, то есть от их философии языка. Когда специалист в области лингвистической философии приступает к какому-то конкретному исследованию, выбранный им метод анализа всегда зависит от его теоретических воззрений и установок, отражающих представления о значениях слов и способах их соотносённости с миром. Бессмысленно даже начинать исследование, если вы не опираетесь на некоторую теорию языка или на какой-нибудь теоретический подход к языку. Именно

по этой причине, помимо всех остальных, при самом широком распространении в XX веке аналитической философии, философия языка заняла одно из центральных мест (некоторые, быть может, даже сказали бы, *главствующее* место) во всей философии в целом. Большинство влиятельных философов XX века, и среди них такие имена, как Рассел, Витгенштейн, Карнап, Куайн, Остин и Стросон, все в той или иной степени являются философами языка.

Хотя в наши дни философией языка и лингвистической философией занимаются более осознанно, чем когда-либо прежде, обе области являются такими же старыми, как и сама философия. Когда в диалоге «Евтифрон» Платон спрашивает, что есть благочестие, его вопрос можно рассматривать как вопрос о понятии «благочестивый», а это, как сразу бы заявили современные философы, является вопросом о точном значении греческого слова *hosion*, обозначающего благочестие, и его эквивалентов в других языках. Когда в другом своем диалоге «Федон» Платон рассуждает о том, что общие термы (понятия) приобретают свои значения, занимая определенную позицию в синтаксической структуре, то он затрагивает вопросы, относящиеся к сфере философии языка, а именно — как слова приобретают значение и что они значат.

Хотя современная философия сохраняет историческую преемственность со времен античности, имеются достаточно веские причины считать, что ее рождение началось с работ немецкого философа и математика Г. Фреге. В них Фреге хотел показать, что математика базируется на логике и сводится к ней, и для осуществления своего проекта он придумал новую логическую систему. Дело в том, что в процессе исследований Фреге обнаружил, что взгляды на язык, которые были доминирующими в XIX веке и которые представлены в работах многих видных ученых, таких, как, скажем, Дж. С. Милль, являются довольно поверхностными, а в целом ряде случаев и просто ложными. Поэтому Фреге решил создать свою собственную логическую теорию.

Чтобы поместить современные исследования по философии языка в некий исторический контекст и создать у читателя общее представление о том фоне, на котором отбирались работы для этого тома, я остановлюсь, по необходимости очень коротко и эскизно, на некоторых наиболее важных открытиях в области философии языка, начиная с работ Фреге. То, о чем я собираюсь дальше говорить, следует рассматривать лишь как краткий очерк, а потому читателя не должна вводить в заблуждение кажущаяся простота изложения материала, которая никоим образом не отражает всей истинной сложности изучаемого объекта.

Самым крупным отдельным результатом Фреге в области философии языка было последовательно проведенное им различие между смыслом и референцией. Фреге поясняет это различие следующей загад-

кой утверждений тождества: Как получается, что истинное утверждение вида *a тождественно b*, содержит больше фактической информации, чем утверждение вида *a тождественно a*? [Frege 1952]. Если интерпретировать эти утверждения как говорящие об объектах, названных именами, обозначенными буквами *a* и *b*, то тогда кажется, что они должны заключать в себе в точности одно и то же малоинформативное сообщение, а именно, что объект тождествен самому себе. Если же, напротив, рассматривать утверждения тождества как сообщения об именах, использованных при их построении, то в таком случае эти имена, вроде бы, должны быть произвольными, поскольку мы можем произвольным образом присвоить любому объекту то имя, какое захотим. Между тем утверждение «Вечерняя Звезда — это Утренняя Звезда» значит совсем другое и является более информативным, чем утверждение «Вечерняя Звезда — это Вечерняя Звезда». Как такое может быть? Ответ Фреге состоит в том, что, кроме имени и объекта, названного этим именем, то есть *референта* имени, существует еще один элемент, а именно *смысл* имени (либо, как мы бы предпочли сказать, значение, или дескриптивное содержание), посредством которого, и только посредством которого, имя соотносится со своим референтом. Смысл определяет «способ представления» объекта, и указание на референт всегда происходит с помощью смысла. Причина, по которой утверждение «Вечерняя Звезда — это Утренняя Звезда» может нести в себе больше фактической информации, чем утверждение «Вечерняя Звезда — это Вечерняя Звезда», при том, что референт у используемых здесь имен один и тот же, заключается в том, что у языковых выражений «Вечерняя Звезда» и «Утренняя Звезда» разные смыслы, и утверждение тождества «Вечерняя Звезда — это Утренняя Звезда» передает информацию о том, что один и тот же объект обладает разными признаками, определяемыми разными смыслами этих двух выражений. Фреге считал свою теорию смысла и референции применимой не только к определенным дескрипциям типа «этот человек в синей рубашке», но и к обычным именам собственным, таким как «Чикаго» или «Уинстон Черчилль».

Впоследствии Фреге распространил введенное им различие с выражений, имеющих сингулярную референцию, на предикатные выражения и даже на полные предложения. Он говорит, что, помимо выражения смысла, предикаты обозначают понятия, и утверждает, что предложения (по крайней мере те, по отношению к которым встает вопрос об истинности или ложности) выражают мысль в качестве своего смысла и имеют в качестве референтов *истинностные значения* (то есть условия, при которых они истинны, и условия, при которых они ложны). Распространение различия смысла и референции на предикаты и полные предложения носило уже менее вынужден-

ый характер и оказало гораздо меньше влияния на последующие логико-философские исследования, чем первоначально проведенное различие на множестве референтных языковых выражений. При таком распространении, как мне представляется, теряется та блестящая догадка, которой отмечено исходное различие, позволяющее обнаружить связь между референцией и истиной, а именно то, что референтное выражение обозначает некоторый объект (= обладает референцией к некоторому объекту) только потому, что сообщает о нем некоторую истинную информацию. Предикат же не передает никакой истинной информации о понятии, а предложение ничего истинного не сообщает о своем истинностном значении. Тем не менее, одна важная черта, отличающая описание предложений, данное Фреге, актуальна и по сей день. Фреге настаивает на том, что следует отличать мысль, выраженную в предложении, и утверждение этой мысли. Например, в предложениях «Сократ умный» и «Сократ умный?» выражена одна и та же мысль, кроме того, ту же мысль можно передать также в придаточном предложении в составе сложного, как в «Если Сократ умный, то он философ». Между тем только в первом этих из приведенных трех предложений эта мысль утверждается. Указанное различие между мыслью, или содержанием (или, как сегодня многие философы называют ее, *пропозицией*), и *утверждением* данной пропозиции является очень важным для тех рассуждений, которые проводятся в моей статье и в статье Грайса, помещенных в настоящем томе.

Следующими после Фреге крупными достижениями в области философии языка были работы Б. Рассела, написанные им в годы перед Первой мировой войной, и книга «Логико-философский трактат» его ученика Л. Витгенштейна. Оба они по ряду причин не приняли введенного Фреге различия смысла и референции. Рассел и Витгенштейн считали, что, хотя оно может оказаться полезным в очень простых случаях, при действительно строгом формальном анализе языка и последовательном выделении простейших языковых форм и структур отношение между словами и миром оказывается совсем не таким, каким его видел Фреге. Я полагаю, что отрицание Расселом и Витгенштейном теории смысла и референции было их главной ошибкой, а приводимые ими аргументы против теории Фреге являются неубедительными¹⁾. Отвергнув теорию Фреге, Рассел и Витгенштейн построили свои собственные теории того, как слова соотносятся с миром, заметно расходящиеся с теорией Фреге.

¹⁾ См. статью [Searle 1958], в которой содержится критический анализ аргументации Рассела.

Работа [Russell 1905] открывается обсуждением проблемы предложений, содержащих определенные дескрипции, за которыми не стоит никакого объекта, то есть предложений типа *The King of France is bald* 'Король Франции лысый'. Очевидно, что это осмысленное предложение, но в этом-то и загадка: как оно может быть осмысленным, если короля Франции не существует, и потому для выраженной в нем пропозиции нет объекта, о котором можно было бы что-то утверждать, а следовательно, в нем нет ничего, по отношению к чему предикат мог бы быть истинным или ложным? Как может иметь смысл такое предложение, если очевидно, что пропозиция, которую оно выражает, не является ни истинной, ни ложной? Ответ Фреге на этот вопрос был таким: предложение может быть осмысленным даже при том, что его субъектное выражение не имеет референции. По Фреге предложение может не иметь истинностного значения, но отсутствие истинностного значения не лишает предложения смысла и не превращает его в бессмыслицу. И если кто-то ошибочно считает, что предложение становится бессмысленным, то он просто путает смысл с референцией. Рассел, уже отвергнувший теорию Фреге о смысле и референции, дает, однако, совсем другой ответ на тот же вопрос: лишь на первый взгляд кажется, что данное предложение имеет субъектно-предикатную логическую форму, а на самом деле это не так. Грамматическая форма предложения здесь завуалирует его логическую форму, делая ее непрозрачной. В действительности же логическая форма этого предложения представляет собой конъюнкцию утверждений, одним из которых является утверждение существования. Иными словами, Рассел предлагает следующий анализ для предложения *The King of France is bald* 'Король Франции лысый':

There is a King of France 'Существует король Франции'.

There is not more than one King of France 'Существует не более одного короля Франции'.

Whatever is King of France he is bald 'Каков бы ни был король Франции, он лысый'.

При такой интерпретации легко видеть, что анализируемое предложение является осмысленным, а выраженная в нем пропозиция ложна. Она ложна потому, что короля Франции не существует.

Необходимо особо подчеркнуть различие в подходах Фреге и Рассела. Фреге задает вопрос: как собственные имена и определенные дескрипции соотносятся с объектами мира? И отвечает на него так: через свои смыслы. Рассел этот вопрос вообще отвергает. Он фактически утверждает, что ни определенные дескрипции, ни обычные имена собственные (поскольку для него обычные собственные имена — это скрытые или сокращенные определенные дескрипции) вообще ни с чем

в мире не соотносятся. Точнее, он говорит, что такие языковые выражения не имеют «изолированных» значений, но предложения с ними следует анализировать по тому же образцу, что и предложения, имеющие в своем составе такие единицы, как *The King of France* 'король Франции', то есть в результате анализа должно произойти полное элиминирование подобных выражений. Все, что остается, это предикаты, логические константы и выражения типа *there is a* 'существует некий', *something* 'что-то', *nothing* 'ничто', *anything* 'все; любой', *whatever* 'какой бы ни' и т. п., ни одно из которых не имеет референции к конкретным объектам.

Но тогда как по Расселу слова «пристегиваются» к объектам мира, если ни определенные выражения, ни собственные имена ни с чем не соотносятся? Частично его ответ состоит в том, что существует класс простых, далее не членимых выражений, которые логически являются собственными именами. Это просто знаки — субституты объектов, и они не имеют никакой другой функции или значения, кроме как функции замещения. В наиболее полном виде данная концепция была разработана и изложена в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна (рус. пер. [Витгенштейн 1958]. — Прим. перев.). Согласно «Трактату», контакт слов с миром осуществляют имена. «Имя обозначает объект. Объект есть его значение» [Витгенштейн 1958, 3.203]. Элементарное предложение языка состоит из имен. Оно есть связь или сцепление имен, а поскольку для Витгенштейна окончательный анализ всех полнозначных предложений языка сводится к выяснению возможностей истинности для элементарных, или атомарных, предложений, имена играют решающую роль для установления связи слов с миром. Но если, как говорит Витгенштейн, элементарные предложения — это сцепление и упорядочение имен, то как предложение может иметь смысл? Чем, например, оно отличается от списка имен? Ответ ученого состоит в том, что аранжировка (порядок) имен в предложении является логическим образом вещей и описанием положения дел, или, по Витгенштейну, фактов, в мире. Разные аранжировки имен порождают разные представления о мире и разные его изображения, и смысл предложения создается этим отношением изображения мира (логическим образом фактов. — Прим. перев.). Если в мире действительно имеет место некоторый факт, каким он представлен в изображении, то предложение будет истинным, а если нет, то ложным. Отношение изображения является полностью конвенциональным. Так, для того, чтобы сказать, что *x is on the top of y* 'x находится поверх y', не нужно помещать букву «x» на букву «y», а в соответствии с уже существующим соглашением следует сначала написать «x», за ним слова *находится и поверх*, а потом «y». Здесь *is on the top* 'находится поверх' — это не другое имя, а часть конвенционального способа отображения отно-

нений между x и y , когда x находится над (или: на верху) y . Порядок слов в предложении в известном смысле отражает отношение и порядок объектов (фактов) в мире.

Данный вариант изобразительной теории значения наталкивается на огромные трудности, и в своей более поздней работе «Философские исследования» Витгенштейн от него полностью отказывается. Одна из трудностей такова: если значение имени является в буквальном смысле объектом, который данное имя замещает, то тогда оказывается, что существование таких объектов не может быть случайным фактом. Ведь разрушение всякого существующего случайно объекта, такого как гора или автомобиль, не может уничтожить значение слов, поскольку всякое изменение в случайных характеристиках мира по-прежнему должно описываться в словах. В самом деле, тогда, видимо, было бы бессмысленным утверждать или отрицать существование объектов, названных именами. Как говорит Витгенштейн, «Объекты образуют субстанцию мира» и «Субстанция есть то, что существует независимо от того, что имеет место» [Витгенштейн 1958, 2.021 и 2.024]. К сожалению, он нигде не приводит примеров объектов, имен или элементарных предложений, однако утверждает, что при анализе содержательных предложений обычного языка следует доходить до элементарных предложений, в которых имена непосредственно связаны. Парадоксально — и это недостаток, которым философия языка Фреге не страдает, — что у Витгенштейна обычные имена типа *Уинстон Черчилль* или *Сан-Франциско* не являются «именами», а обычные объекты не являются «объектами».

Одной из целей «Логико-философского трактата» было отделить область содержательного, или осмысленного, дискурса от бессодержательного, или бессмысленного. Несмотря на неясность изложения, эта работа оказала огромное влияние на развитие философской мысли в 20–30-х годах XX века, в особенности на *логических позитивистов*, группу ученых, ориентированных на эмпирические исследования в естественных науках и математике. Они, частично опираясь на «Трактат», частично на другие замечания Витгенштейна, разработали критерий содержательности, или Принцип Верификации. Этот принцип гласит, что значением пропозиции является способ ее верификации, или, говоря более прозрачно, все содержательные утверждения являются либо аналитическими, либо эмпирическими и синтетическими. Все аналитические утверждения истинны по определению, тогда как все истинные эмпирические утверждения истинны в силу эмпирических данных, их подтверждающих; в самом деле, по своему значению такие утверждения равносильны множеству основных пропозиций, которые представляют собой запись данных, составляющих их верификацию.

Среди многих возражений, которые вызвала Верификационная Теория Значения, есть и такое: каков статус самого Принципа Верификации? Безусловно, этот Принцип не является синтетическим, потому что верифицируемость не может быть просто одним из возможных свойств содержательных высказываний. Но если этот принцип аналитический, то не существует ли тогда он сам просто благодаря произвольно выбранной дефиниции осмысленности, которую можно либо принять, либо не принять? Действительно, этот принцип кажется совершенно несовместимым с нашими обычными представлениями о содержательности и бессодержательности. А может быть, сам принцип верификации является бессодержательным, подобно метафизике, которую он призван был уничтожить? Все эти трудности вместе с поиском точной и понятной формулировки Принципа Верификации, продолжали преследовать позитивистов в течение многих лет до Второй мировой войны.

Отметим, что все очерченные теоретические концепции — Фреге, «Трактат», логический позитивизм — имеют общие черты. Во-первых, все они предполагают, что единственная или, по крайней мере, основная, функция языка заключается в репрезентации и передаче фактической информации, то есть что реально следует принимать во внимание только «когнитивную» часть языка. Короче говоря, целью языка признается сообщать о том, что может быть истинным или ложным. Во-вторых, они рассматривают все языковые единицы — слова, предложения, пропозиции — как объекты, которые обозначают, либо как объекты, которые являются истинными или ложными и т. д., отличные от действий или намерений говорящих и слушающих. В расчет принимаются только единицы языка, но не действия или намерения говорящих. В тридцатые годы и позже, особенно после Второй мировой войны, правильность этих положений была подвергнута резкой критике со стороны многих ученых, и одним из них был Витгенштейн. Он утверждал, что констатация фактов — это лишь одна из многочисленных задач, решаемых языком, и что значение языковых единиц проявляется не в каких-то абстрактных отношениях, а в их реальном употреблении. «Язык, — пишет Витгенштейн, — это инструмент» [Витгенштейн 1958, § 569] и «для большого числа случаев... значение слова есть употребление в языке» (там же, § 43).

Рассуждая примерно в том же роде, Дж. Остин обратил внимание на класс высказываний, по отношению к которым понятие истины вообще не применимо. Например, человек, говорящий «Я обещаю, что приду», ничего не утверждает о себе в связи с обещанием, он просто дает обещание. Такого типа высказывания Остин назвал «перформативами», противопоставив им «констативы».

В своих рассуждениях об употреблении языковых выражений философы в ту пору допускали много небрежности и даже легкомыслия и (здесь Остин составляет заметное исключение) далеко не всегда проводили различие между разными типами «употреблений». Такой подход, впрочем, имеет ряд бесспорных достоинств, сохранившихся по сей день, и несколько работ, публикуемых в этом сборнике, испытали его влияние. Самым важным достоинством этого подхода является то, что он переводит обсуждение многих проблем философии языка в более широкий контекст дискуссий о действиях людей и человеческом поведении вообще. Вопросы о значении и референции можно рассматривать применительно к говорящим, которые хотят сказать что-то о чем-то и которые соотносят употребляемые ими языковые выражения с какими-то объектами во внеязыковой действительности. Вместо того, чтобы смотреть на отношения между словами и миром как на существующие *in vacuo*, стало возможным видеть в них намеренные действия говорящих, использующих конвенциональные средства (слова, предложения) по чрезвычайно абстрактным правилам их употребления. Так, подлинная сила теории смысла и референции Фреге по сравнению с теорией определенных дескрипций Рассела проявляется в представлении Стросоном о референции как о речевом акте [Strawson 1950/1956]. Если установление референции некоторой единицы с данным смыслом представлять как действие, которое осуществляется в акте ее произнесения в составе высказывания по правилам употребления этой единицы, то легче увидеть, что ошибочная референция очень напоминает ошибку при выполнении некоторого действия (так, нельзя осуществить референцию по отношению к королю Франции ровно по той же причине, по которой его нельзя ударить: такого человека не существует), и при таком подходе у вас имеется меньше оснований пытаться отождествить акт референции (один вид речевого действия) с утверждением экзистенциальной пропозиции (другой вид речевого действия), что, фактически, пытается делать Рассел.

Теперь о статьях данного сборника. Остин как-то выразил мнение, что работа, которую в XX веке проделали философы, психологи, лингвисты и др., в конечном счете приведет к созданию науки о языке, подобно тому, как деятельность ученых самых разных специальностей в XIX и начале XX века в области логики привела в итоге к построению науки логики. Сегодня мы еще к этому не пришли, но, как я надеюсь показать, статьи, публикуемые в настоящем томе, указывают то верное направление, в котором следует двигаться, чтобы достичь желаемого результата. Их условно можно разбить на две части. Первые четыре статьи группируются вокруг понятия речевого акта и соотношения значения

и речевого акта, а остальные объединены своим прямым отношением к порождающей грамматике.

Первые четыре работы расположены в хронологическом порядке, начиная с попытки Остина пересмотреть отношение между перформативами и констативами, основываясь на результатах, полученных в теории речевых актов. В своей статье «Перформативы и констативы» Остин резко критикует различие перформативных и констативных высказываний, то есть различие, которое он сам же ввел и которое благодаря ему получило широкую известность. Любопытно, однако, посмотреть, как он ведет свою атаку. Первоначально различие между перформативами и констативами вводилось как различие между высказываниями, которые *говорятся* (*sayings*), — утверждения, описания и пр., и высказываниями, которые *делаются* (*doings*), — обещания, заключение пари, предупреждения и др. Предполагалось, что это различие между высказываниями, которые не являются действиями (констативы), и высказываниями, которые являются действиями (перформативы). Однако, как утверждает Остин в своей старой работе, а также в лекциях, объединенных в его книге под названием «Слово как действие» [Austin 1962b] и опубликованных после смерти автора, констативы — это тоже речевые действия. Когда мы утверждаем что-то или даем чему-либо описание, мы осуществляем такое же речевое действие, как и в случае, когда даем обещание или отдаем приказ. Таким образом высказывания, которые в первоначальной версии Остина образовывали особый класс высказываний (перформативы), теперь оказались объединенными с констативами в один класс речевых актов. Вводя новую терминологию, Остин называет эти разные виды полных речевых актов (утверждения, заключение пари, предупреждения, обещания и т. д.) *иллокутивными* и противопоставляет их актам, назначение которых воздействовать на адресата с определенной целью, например, уговорить, убедить, напугать, надоесть, удивить, обозлить и т. п.; такие акты Остин называет *перлокутивными*.

Стросон и я, каждый по-разному и с разными целями, пытаемся объяснить введенное Остином понятие иллокутивного акта, используя результаты проделанного Грайсом анализа значения. Грайс рассматривает значение как намеренное воздействие говорящего на слушающего с целью заставить слушающего распознать намерение говорящего и этим достичь желаемого результата [Grice 1957/1967]. В свете утверждений Остина о том, что иллокутивные акты по существу являются актами конвенциональными, Стросон исследует вопрос о том, в какой мере иллокутивные акты являются *конвенциональными*, а в какой — *интенциональными*, и приходит к выводу, что на самом деле некоторые иллокутивные акты являются конвенциональными — в том смысле,

что для их реализации необходимы *экстралингвистические* соглашения. Так, церемония бракосочетания, объявление о «выходе» из игры, заказ в партии в бридж и т. п. — все эти иллокутивные акты фактически являются конвенциональными, поскольку их реализация предполагает наличие определенных экстралингвистических соглашений. Между тем, по Стросону, большинство основных типов речевых актов не являются конвенциональными ни в этом, ни в каком-либо ином смысле, за исключением самого тривиального, который заключается в том, что все они выполняются с помощью заранее оговоренных средств и имеют общепринятые названия. Различие между конвенциональными и неконвенциональными речевыми актами проявляется тогда, когда мы понимаем, что неконвенциональные акты будут успешно осуществлены, только если «сложное эксплицитное намерение» говорящего осознается слушающим, то есть если тот *понимает*. Однако явное намеренное речевое воздействие на слушающего может не привести к успеху, если не нарушить каких-либо правил или соглашений. Напротив, если акт является конвенциональным, то неудача говорящего в достижении желаемого воздействия на слушающего должна объясняться тем, что было нарушено некоторое правило или соглашение. Следовательно, в одном случае (для конвенциональных актов) эксплицитная перформативная форма может быть названием самого речевого акта в том и только в том случае, если явное намерение говорящего приводит к желательному эффекту, а в другом случае (для неконвенциональных актов) она названием осуществляемого акта вообще быть не может.

Я полагаю, что различие между конвенциональными и неконвенциональными актами не имеет той силы, которую ей приписывает Стросон, и, как и предлагаемое Грайсом оригинальное объяснение значения, обладает тем недостатком, что должным образом не учитывает указанного Остином различия между иллокутивным пониманием (то есть пониманием высказывания) и перлокутивным воздействием. Стросон и Грайс оба считают, что «явное намерение» говорящего в случае неконвенциональных актов состоит в том, чтобы добиться от слушающего некоторой реакции или выполнения какого-нибудь действия, например, вынудить его поверить во что-то (явное намерение, содержащееся в утверждениях) или заставить что-то сделать (явное намерение, выраженное в просьбах). Я утверждаю, однако, что желаемое воздействие значения чего-либо заключается не в том, чтобы вызвать речевой отклик у слушающего или сделать так, чтобы он повел себя определенным образом, а в том, чтобы ему стали известны иллокутивная сила и пропозициональное содержание высказывания. Подробное обоснование этого тезиса можно найти в моей книге [Searle 1969]; а в статье, помещенной в этом томе, я говорю о нем лишь вскользь. Здесь же

для краткости изложения я сознательно формулирую его в слишком категоричной форме.

Если с данным тезисом согласиться, то различие, о котором говорит Стросон, уже не кажется очень большим. Сравним, например, произнесение утверждения (неконвенциональный акт) и заказ в бридже (конвенциональный акт). В обоих случаях желаемый результат воздействия значения чего-либо состоит в том, чтобы слушающий понял высказывание. В случае заказа в бридже достижение слушающим понимания облегчается тем, что существуют языковые соглашения, в соответствии с которыми некоторые заказы могут быть сделаны только при наличии определенных условий. В обоих случаях желаемого *перлокутивного* эффекта можно и не достичь, например, слушающий может не поверить моему утверждению или не поверить, что у меня на руках имеется достаточное число старших карт, на которое указывает мой заказ «пять без козыря». И ни в одном из тех случаев, когда он мне не верит, он не нарушает никаких правил и соглашений. Больше того, даже тогда, когда неудача в достижении *перлокутивного* эффекта приводит к реальному нарушению правил, существует лишь тривиальная причина, по которой правила предназначены для достижения *перлокутивного* эффекта. Например, если я не способен сыграть игру, заявленную в контракте, то по существу я уничтожаю предполагаемый контрактом *перлокутивный* эффект и этим нарушаю правило. Однако это чисто случайное совпадение, и оно не имеет глубокого лингвистического смысла, просто оно показывает что, поскольку *иллокутивный* акт был успешно осуществлен, правило здесь служит только для того, чтобы обеспечить достижение *перлокутивного* эффекта.

Как в случае с утверждением, так и в случае с контрактом *перформативный* глагол обозначает выполняемый акт, если *эксплицитное* намерение говорящего было реализовано, потому что в первом случае намерение состояло в том, чтобы сделать утверждение, а во втором — предложить разыграть партию. Думать иначе — это считать, что то, что я утверждаю, ошибочно, а именно — что намерения, скрытые в значениях, являются *перлокутивными*.

Кроме того, — и это совершенно отдельное обстоятельство, — вопрос, до какой степени «неконвенциональные акты» утверждения и др. являются конвенциональными, решен не убедительно. И для Грайса, и для Стросона основные речевые акты по существу все вообще неконвенциональные. Они считают, что наличие языковых конвенций, позволяющих осуществлять такие естественные акты, как высказывание мнений, убеждений или выполнение действий, является фактом чисто случайным. В своей статье я пытаюсь показать, что по крайней мере некоторые речевые акты, например, утверждение или обещание,

могут быть осуществлены только в системах «определяющих» (конститутивных) правил, и языковые конвенции, с которыми мы имеем дело в конкретных естественных языках, являются не чем иным, как конвенциональными реализациями этих глубинных определяющих правил. Эта одна из самых важных нерешенных проблем современной философии языка. Ее можно было бы сформулировать иначе: в какой мере такие основные иллюкутивные понятия, как утверждение, вопрос, обещание и т. п., можно истолковать, не пользуясь такими понятиями, как правило или соглашение, но пользуясь понятиями намерение, реакция, ответ, процедура и т. п. Самыми многообещающими в этом направлении являются рассуждения Грайса, которые содержатся в его лекциях и фрагмент которых в виде статьи публикуется в настоящем сборнике. В этой статье он пытается проанализировать некоторые фундаментальные характеристики языка, опираясь исключительно на «грубые» понятия. Я в своей статье исследую предположение, что некоторые типы речевых актов являются необходимо конвенциональными, то есть могут быть выполнены только при условии, что имеются некоторые конститутивные правила. Это предположение мною доказано не было и, быть может, Грайсу в конце концов удастся его опровергнуть.

В статье, публикуемой в настоящем томе, он продолжает работу над проектом, намеченным им еще в работе [Grice 1957/1967], где при помощи понятия «значение говорящего», содержание которого состоит в том, что говорящий, делая нечто, хочет этим что-то сказать или сообщить, пытался объяснить, что означает для предложения, слова или словосочетания иметь значение. В новой работе, как и в предыдущей, основным для него является понятие «действие говорящего», желающего этим действием сказать нечто (сообщить, выразить значение). Однако сейчас он изменил свое прежнее определение значения, что позволило ему частично (хотя и не до конца) снять высказанные мной только что возражения. Так, Грайс описывает предполагаемое действие императивного типа высказываний, как состоящее в том, что слушающий должен *хотеть* или *намереваться* сделать что-то, а не реально делать это что-то; предполагаемое действие индикативного типа высказываний он описывает как состоящее не в том, что слушающий должен думать что-то, а в том, что он должен думать, что говорящий думает что-то. Тем не менее, это описание мне тоже кажется неудовлетворительным по целому ряду причин, из которых я назову здесь лишь две. Во-первых, я полагаю, что говорящий может произносить высказывания, означающие именно то, что он произносит, и все же не раскрывающие его подлинных намерений. Так, я могу произнести высказывание «Идет дождь», означающее именно то, что *идет дождь*, и мне абсолютно безразлично, что думает при этом мой адресат, то

есть размышляет ли он о том, думаю ли я, что идет дождь, или нет. Предполагаемое или намеренное воздействие на слушающего значения *идет дождь*, когда я произношу высказывание «Идет дождь» и это же хочу ему сообщить (в отличие, например, хотя бы от той ситуации, когда я произношу то же высказывание в качестве упражнения в произношении), заключается в том, что слушающий должен знать, что ему сказали (то есть высказывание было обращено именно к нему), что идет дождь. Короче говоря, предполагаемое воздействие значения — это понимание, и воздействие это не перлокутивное, а иллокутивное.

Далее, остается не ясным, как эти определения значения будут различать многие другие виды иллокутивных актов. Например, как при этих определениях мы отличим обещание «Я это сделаю» от «Я это сделаю», произнесенного в качестве утверждения о намерении? Согласно Грайсу, оба высказывания включают в себя намерение создать у говорящего мнение, будто говорящий думает, что он выполнит данное действие, но этого еще не достаточно для различения двух разных *подразумеваемых* иллокутивных сил.

Последние три раздела относятся к теории трансформационных порождающих грамматик и ее значения для философии. Описываемые грамматики получили название «порождающих», потому что они содержат системы правил для производства бесконечного множества предложений, и с их помощью пытаются объяснить способность носителей естественного языка производить и понимать бесконечное число абсолютно новых высказываний, то есть таких, каких носители языка прежде никогда не слышали. Описываемые грамматики были названы «трансформационными», потому что в них, помимо правил, описывающих структуру предложения, включены также трансформационные правила. Другими словами, наряду с правилами, которые определяют структуру предложения, члена его на составляющие, такие как именная и глагольная группы, эти грамматики содержат также правила, которые преобразуют эту структуру, передвигая, переставляя или удаляя ее элементы. Действительно, одним из самых ранних достижений формальной лингвистической теории была демонстрация того факта, что одних только правил структуры составляющих недостаточно для объяснения синтаксической сложности естественных языков.

Работу Хомского, о которой философски настроенный читатель может составить беглое впечатление по включенным в настоящий сборник извлечениям, по причине ее общего характера и систематического изложения я решил оставить без каких-либо критических философских замечаний к отдельным ее частям вроде тех, что я делал в адрес других авторов. Важно, однако, подчеркнуть, что с философской точки зрения в ней чересчур много допущений и очень многое остается неясным. Так,

в качестве одного из «беспорных» допущений Хомский приводит то, что «языковая компетенция говорящего или слушающего может быть выражена в виде системы правил, которые связывают сигналы с их семантической интерпретацией». Но уже его тезис о том, что совершенствование языковой компетенции есть совершенствование системы такого рода правил, а не, скажем, обретение или улучшение навыков правильного языкового поведения, является спорным или, во всяком случае, вызывающим определенные сомнения. Это всего лишь одна точка зрения, но она не является очевидной истиной. Больше того, когда Хомский говорит нам, что в процессе обучения языку ребенок овладевает «внутренней репрезентацией» этих правил; остается абсолютно непонятным, что имеется в виду под внутренней репрезентацией. Может быть, Хомский хочет сказать, что ребенок обладает «молчаливым знанием» правил в том смысле, как об этом говорится в работе [Polanyi 1960]? Я склонен считать, что он имеет в виду именно это. Однако понятие внутренней репрезентации, как его вводит Хомский, допускает самую разную интерпретацию, например, как предполагающее только то, что идеализированная языковая компетенция говорящего и слушающего может быть описана этими правилами так же, как законы физики описывают идеализированное поведение падающего тела. При этой интерпретации, однако, мы ни в том, ни другом случае не обязаны считать, что тело или говорящий *знают* какие-либо правила.

В попытках ответить на некоторые традиционные вопросы философии языка Катц использует семантический компонент порождающей грамматики. Не всегда, впрочем, ясно, действительно ли он решает те проблемы, на решение которых претендует. Например, смущает то обстоятельство, что Катц полагает, будто бы его объяснение понятия аналитичности на языке понятий семантической теории является ответом на сомнения Куайна, высказанные по поводу этого понятия, потому что Куайн решительно возражает против любого объяснения, основанного на таких понятиях, как значение или семантические правила. Однако использование Катцем такого аппарата, как семантические маркеры, правила проекции и т. п., является семантически нагруженным не менее, чем понятие семантического правила, которое было введено Карнапом и которое с самого начала подверглось критике со стороны Куайна. В своих рассуждениях Катц опирается на предполагаемые известными интенциональные понятия, но не объясняет их в экстенциональном или бихевиористском стилях, которые Куайн считал бы единственно приемлемыми.

Кроме того, замечания, высказанные Катцем по поводу логической формы, не помогают решить ни одной из общеизвестных проблем, связанных с этим понятием. Самый серьезный и важный современный

философский спор о логической форме связан с теорией дескрипции Рассела. Как мы уже видели, Рассел утверждал, что предложения с определенной дескрипцией в качестве грамматического субъекта не тождественны их логической форме. Грамматически, как говорит Рассел, они имеют субъектно-предикатную форму, тогда как их логическая форма — это форма экзистенциального предложения, а вовсе не субъектно-предикатного. Трудно понять, что нового дает предложенная Катцём интерпретация этой проблемы, за исключением, быть может, высказанных им отдельных весьма спорных положений в поддержку Стросона, поскольку в глубинном НС-показателе²⁾ скажем, такого высказывания, как «Король Франции лысый» нет ничего, что могло бы прояснить указанное Расселом различие между экзистенциальными и субъектно-предикатными предложениями.

Последний раздел книги составляет философская беседа Хомского, Путнама и Гудмана, в ходе которой обсуждается гипотеза о врожденном характере идей. Хомский и его последователи утверждают, что данные современной эмпирической теории языка подтверждают традиционную рационалистическую концепцию врожденных идей, взгляд, согласно которому человеческий мозг содержит в себе понятия еще до всякого опыта. Спор по поводу этого утверждения распадается на две части. Первая часть — это вопрос исторический: что хотели сказать рационалисты своим учением о врожденных идеях и прав ли Хомский, утверждая, что они имели в виду именно это? А вторая часть содержит вопрос более для нас интересный: какие допущения относительно врожденных интеллектуальных способностей ребенка мы должны принять, чтобы объяснить, как он овладевает языком? В этом споре (по крайней мере, таково мое мнение) доводы Хомского по второму вопросу являются определенно более вескими. Хотя Путнам и Гудман приводят аргументы против отдельных утверждений, высказанных сторонниками теории врожденных идей, они ничего не могут противопоставить более весомым доводам Хомского. Например, Хомский утверждает, что правила, связывающие глубинные структуры предложений с поверхностными, являются настолько сложными и абстрактными, что их усвоение невозможно объяснить с помощью таких понятий, как стимул-реакция или ассоциация. Только предположив, что у ребенка в мозгу хранится запрограммированная в определенной форме грамматика, можно объяснить то интеллектуальное мастерство, с каким

²⁾ Далее в соответствии с традицией перевода термина «phrase-marker» в отечественной лингвистике, используется также сокращенное обозначение «НС-показатель» (НС — от англ. IC, immediate constituents — непосредственные составляющие); другим распространенным вариантом перевода является «система составляющих». — *Прим. перев.*

ребенок овладевает этими правилами. Это, по крайней мере отчасти, вопрос эмпирический: насколько сложны и абстрактны синтаксические правила естественных языков? Чтобы возразить Хомскому, его оппоненты должны были бы показать, либо что его эмпирическая теория синтаксиса естественных языков ошибочна, либо что он делает из своей теории неверные выводы.

Существуют три основных современных подхода к философии языка: неопозитивистский, или формально-логический подход, наиболее квалифицированно представленный Куайном, так называемый «языковой подход» Витгенштейна и Остина, а также генеративистский подход Хомского и его последователей. Как можно понять из подборки статей для настоящего тома, я думаю, что дальнейшего развития философии языка и появления важных результатов следует ожидать от объединения двух последних подходов.

Перформативы — констативы*

Дж. Л. Остин

Понять, что представляет собой перформативное высказывание, очень легко — хотя такого выражения, насколько я знаю, нет ни во французском, ни в русском, ни в каком-либо ином языке. Понятие перформативного высказывания было введено для того, чтобы подчеркнуть его отличие от декларативного или, точнее, от констативного высказывания, как я собираюсь называть его в дальнейшем. И здесь мы сразу же сталкиваемся с вопросом: а существует ли вообще такая оппозиция, как «перформатив — констатив»?

Констативное высказывание, известное под таким, столь дорогим для философов, именем, как *утверждение*, обладает свойством быть истинным или ложным. В противоположность ему, перформативное высказывание не может быть ни истинным, ни ложным: у него свои цели, оно используется для осуществления действия. Произнося перформативное высказывание, мы всегда осуществляем некоторый акт, или, что то же самое, выполняем некоторое действие, которое, видимо, едва ли смогли бы выполнить каким-то другим способом, по крайней мере с той же точностью. Вот несколько примеров перформативных высказываний:

I name this ship Liberty 'Я называю этот корабль «Свобода»'.

I apologize 'Я извиняюсь'.

I welcome you 'Приветствую вас'.

I advise you to do it 'Советую вам сделать это'.

Предложения такого рода встречаются довольно часто: таковы, например, все так называемые «резолютивные» предложения юридических документов¹⁾. Попросту говоря, многие из них небезынтересны для философов: сказать «Я обещаю...» — это, как мы обычно говорим, означает осуществить перформативный акт, в данном случае реализовать сам акт

* Austin J. L. Performative-constative. Впервые напечатано в Caton Ch. E. (ed.) *Philosophy and Ordinary Language*. Urbana: Univ. of Illinois Press, 1963. P. 22–23.

¹⁾ Это предложения, в которых, так сказать, на деле реализуются юридические акты. Они противопоставлены предложениям-преамбулам, в которых устанавливаются и излагаются условия осуществления таких актов.

обещания, а это, как легко видеть, совсем не загадочное действие. И здесь сразу же становится совершенно очевидным, что подобные высказывания не могут быть ни истинными, ни ложными. Отмечу попутно, что я говорю, что они не могут *быть* истинными или ложными, поскольку вполне возможно, что они могут *говорить о том, что* или *имплицировать то, что* какие-то другие пропозиции являются истинными или ложными, но это, впрочем, если я не ошибаюсь, совсем другое дело.

Тем не менее, было бы неверным считать, что перформативное высказывание свободно от каких-либо оценок. Его вполне можно оценивать, но оценка перформативного высказывания должна быть не в терминах «истинно — ложно», а в совсем иных терминах. Перформативное высказывание должно произноситься в ситуации, во всех отношениях согласующейся с тем актом, о котором в нем говорится: если говорящий не находится в тех условиях, которые требуются для осуществления этого акта, то его высказывание может оказаться, как мы в общем случае говорим, «неудачным», или «неуспешным».

Во-первых, перформатив, как и любое другое ритуальное или церемониальное действие, может, как говорят юристы, «не иметь силы». Если, например, говорящий не в состоянии или не имеет возможности совершить данное действие или если объект, по отношению к которому он намеревается это действие совершить, не пригоден для этой цели, то говорящий посредством простого произнесения высказывания не может выполнить намеченное действие. Так, двоеженец не женится во второй раз, он лишь «проходит те же этапы» второго брака; я не могу дать имя кораблю, если у меня на то нет соответствующих официальных полномочий, и я не в состоянии совершить обряд крещения пингвинов — эти милые существа едва ли способны пойти на такой подвиг.

Во-вторых, перформативное высказывание может быть «неуспешным», хотя и не бессмысленным, в совсем другом смысле, а именно если это высказывание произносится *неискренне*. Так, если я произношу слова *I promise* «Обещаю...», нисколько не собираясь выполнять данное обещание, даже возможно, не думая о том, что выполнить его вполне в моих силах, то в этом случае мое обещание будет неискренним. Оно, разумеется, было дано, но акт обещания был, тем не менее, «неудачным»: я *неправильно (неверно) употребил* данное речевое выражение.

Предположим теперь, что намеченный акт осуществился; все прошло нормально и, если угодно, не искренним. Тогда перформативное высказывание характеризуется как «приведшее к определенному результату». Под этими словами мы не имеем в виду, что в результате данного действия, рассматриваемого как причина наступления некоторых событий, происходит или произойдет какое-то событие. Это скорее означает, что наступление такого-то события в будущем, если оно произойдет,

будет в порядке вещей, естественным и логичным следствием совершения данного акта, а наступление каких-то других событий, в случае, если они произойдут, будет следствием неестественным, нелогичным. Если я искренне говорю «Обещаю...», то неисполнение обещания будет актом не естественным и не нормальным. Если я искренне сказал «Рад приветствовать вас», то я поступлю неправильно, если буду продолжать рассматривать вас как врага или непрошеного гостя. Таким образом, я утверждаю, что даже когда перформатив достигает результата, соответствующее действие может быть неуспешным: всегда может неожиданно возникнуть ситуация с неудачей третьего типа, которую я называю ситуацией «нарушения обязательства». Здесь следует сразу отметить, что обязательства эти могут быть неопределенными в большей или меньшей степени и по-разному связывать нас.

Итак, мы выделили три разных типа коммуникативных неудач, связанных с перформативными высказываниями. Можно построить полную классификацию таких неудач, однако следует признать (это кажется банальностью), что разные типы неудач не всегда четко противопоставлены, и зачастую даже совпадают. Следовательно, к уже сказанному мы должны добавить то, что перформатив является одновременно и *действием* и *высказыванием*, а потому, классифицируя перформативы, с ними нельзя поступать так, как мы поступаем со всеми действиями или со всеми высказываниями. Например, перформатив может быть произнесен по принуждению или случайно, он может быть дефектным из-за несовершенной грамматики или быть ошибочно понятым, он может выступать в не очень «серьезном» контексте, например, игровом или поэтическом. Оставим их в стороне и давайте просто запомним, что существуют три особых типа неудач, связанных с употреблением перформативов, а именно незаконность, неправильное использование (неискренность) и нарушение обязательства.

Теперь, после того, как мы познакомились с понятием перформатива, было бы естественно ожидать, что мы продвинемся на пути поиска каких-либо признаков, грамматических или словарных, которые дадут нам возможность в каждом случае ответить на вопрос, является данное высказывание перформативным или нет. Эти ожидания, однако, увы, остаются нереализованными и в значительной степени были напрасными.

Существуют, по меньшей мере, две, так сказать, «нормальные формы» для выражения перформативов. На первый взгляд, обе они выглядят как подлинно констативные формы, что само по себе достаточно любопытно. Одна из них — это та, которой я уже пользовался, когда приводил примеры перформативов: открывается высказывание либо глаголом в первом лице единственного числа настоящего времени

в форме индикатива, либо местоимением первого лица, за которым следует такой глагол, как в предложении «Обещаю тебе, что...». Еще одна нормальная форма очень близка первой, но употребляется чаще в высказываниях письменной речи, и в ней используется глагол в *passive* во втором или третьем лице настоящего времени индикатива, как в высказывании «Пассажиров просят переходить через железнодорожные пути только по пешеходному мосту». Если мы спросим себя, как иногда это делаем, высказывание в такой форме — это что, перформатив или констатив, то сможем ответить на этот вопрос, спросив, а можно ли вставить здесь слово *этим* или какой-нибудь его эквивалент — как, например, в английском *hereby* или во французском сочетание *par ces mots-ci*?

Проверяя таким способом высказывания, которые можно считать перформативными, мы можем воспользоваться хорошо известной асимметрией первого лица единственного числа индикатива настоящего времени и других лиц и времен того же глагола для случая высказываний с так называемым «эксплицитным перформативным глаголом». Так, выражение «Обещаю» является формулой, которая применяется для реализации акта обещания, а единицы «Обещал» или «Он обещает» — это языковые выражения, которые служат просто для описания или сообщения об акте обещания, но не для его осуществления.

Однако совсем не обязательно, чтобы высказывание, являющееся кандидатом в перформативы, было представлено именно одной из этих, так сказать, нормальных форм. Сказать «Закрой дверь!» — это произнести точно такое же перформативное высказывание и осуществить точно такой же перформативный акт, как если бы мы сказали «Приказываю тебе закрыть дверь». Даже слово *dog* 'собака' может (по крайней мере в Англии, стране более прагматичной, чем церемониальной) иногда стоять на месте эксплицитного и формального перформатива; с помощью этого короткого словечка можно осуществить такое же действие, как и с помощью высказываний «Предупреждаю вас, что собака на вас сейчас набросится» или «Осторожно, злая собака». Чтобы сделать наше высказывание перформативным, причем абсолютно очевидным и однозначным, мы вместо эксплицитной формулы можем воспользоваться очень многими другими средствами, такими как, например, интонация или жест; кроме того, и главным образом, контекст, в котором произносятся данные слова, может нам ясно подсказать, как эти слова следует понимать: например, как описание или опять-таки как предостережение. А может быть просто слово *собака* дает нам некоторое представление о фауне в этом районе? В данном контексте — когда, например, мы видим перед собой ворота с табличкой, на которой написано *собака*, — нам просто не придет в голову задаваться таким вопросом.

Все, что мы на самом деле можем утверждать, — это что наша точная формула («Обещаю...», «Приказываю тебе...» и т. д.) помогает эксплицировать и одновременно уточнить, какой акт намерен осуществить говорящий своим высказыванием. Я говорю «эксплицировать», то есть сделать акт более явным, что совсем не то же самое, что *утверждать*. Склоняясь перед вами в поклоне, я снимаю шляпу, а может быть, произношу при этом приветствие «Салям», и в этом случае я, разумеется, не занимаюсь гимнастикой, а высказываю вам уважение или почтение. Наша формула *строит высказывание* о том, каким является данное действие, но не *утверждает*, что это именно такое действие.

Другие формы выражения, которые построены не по эксплицитной перформативной формуле, будут более простыми и менее точными, даже можно сказать более неопределенными. Если я просто говорю «Я буду там», то по одним лишь этим словам нельзя понять, беру ли я на себя обязательство, объявляю о своем намерении или, может быть, делаю фаталистическое предсказание. Думается, что точные формулы — это сравнительно недавнее явление в языковой эволюции, и их возникновение происходит параллельно с появлением более сложных форм науки и общества.

Мы, следовательно, не можем рассчитывать на то, что нам удастся найти какие-то чисто языковые признаки перформатива. И тем не менее можно надеяться, что всякое высказывание, которое реально является перформативным, сводится (в определенном смысле этого слова) к высказыванию той или иной правильной формы. А тогда, продолжим, мы сумеем при помощи словаря составить список всех глаголов, которые могут входить в одну из наших эксплицитных формул. Таким способом мы построим полезную классификацию всех разнообразных речевых актов, которые мы совершаем, когда говорим нечто (по крайней мере в одном смысле этого многозначного словосочетания).

Итак, мы ввели понятия перформативного высказывания, его неуспеха и эксплицитной формулы. Однако до сих пор мы описывали их так, как если бы каждое высказывание было или констативным, или перформативным, а понятие констатива было столь же ясным, сколь и известным. Но это не так.

Отметим сначала, что высказывание, которое бесспорно представляет собой утверждение некоторого факта и, следовательно, является констативом, может «не пройти» по самым разным причинам. Оно, конечно, может быть ложным, но оно также может быть абсурдным или просто нелепым, причем не обязательно в какой-либо крайней форме (например, оно может быть просто грамматически неправильным). Мне бы хотелось сейчас более детально рассмотреть три сравнитель-

но тонких случаях, когда высказывание выглядит нелепым, причем два из них лишь сравнительно недавно попали в орбиту исследователей.

- (1) Кто-то говорит «Все дети Джона лысые, но [или: а] у Джона нет детей»; или, быть может, этот кто-то говорит «Все дети Джона лысые», когда фактически у Джона детей нет.
- (2) Кто-то говорит «Кошка лежит на коврике, но [или: а] я так не считаю» или, может быть, кто-то говорит «Кошка лежит на коврике», при том, что этот кто-то на самом деле так не думает.
- (3) Кто-то говорит «Все мои гости — французы, но некоторые из них не французы» или, возможно, говорит «Все мои гости — французы», а затем позже говорит «Некоторые из гостей — не французы».

Во всех этих случаях ощущается грубое нарушение каких-то правил, и каждый раз можно попытаться охарактеризовать это нарушение с помощью одного и того же слова — «импликация» или слова, которое всегда выручает как очень удобное, — «противоречие». Есть, однако, много других способов достичь того же самого эффекта; для того, чтобы совершать насилие над языком, совсем не обязательно прибегать к противоречию.

Воспользуемся тремя терминами — пресуппозиция, импликация и следствие — для этих трех примеров соответственно. Тогда:

1. Не только у высказывания «Дети Джона лысые», но и у высказывания «Дети Джона не лысые» имеется пресуппозиция «У Джона есть дети». Разговор о детях Джона или референция к ним предполагают их существование. Напротив, высказывание «Кошка лежит на коврике» не так, как высказывание «Кошка не лежит на коврике», имплицитует то, что я это думаю. Аналогично, из высказывания «Ни один из моих гостей не является французом» не так, как из высказывания «Все мои гости — французы», следует то, что некоторые из моих гостей французами не являются.

2. Можно совершенно спокойно сказать «<Конечно,> может быть так, что кошка лежит на коврике, а я думаю иначе (= что она не лежит на коврике)». Иными словами, эти две пропозиции ни в малейшей степени не являются несовместимыми: обе они могут вместе быть истинными. Только нельзя эти две пропозиции одновременно *утверждать*: утверждение говорящего, что кошка лежит на коврике, имплицитует то, что говорящий думает, что кошка лежит на коврике. Вместе с тем нельзя сказать «Могло бы быть так, что и у Джона нет детей и что они лысые» и нельзя сказать «Могло бы быть и что все мои гости — французы, и одновременно некоторые из них не являются французами».

3. Если из высказывания «Все мои гости — французы» следует высказывание «Неверно, что некоторые из моих гостей не являются

французами», то из высказывания «Некоторые из моих гостей не являются французами» следует «Неверно, что все мои гости — французы». Это проблема совместимости и несовместимости пропозиций. Не так обстоит дело с пресуппозицией: если высказывание «У Джона лысые дети» имеет пресуппозицию «Джон имеет детей», то совсем неверно, что высказывание «У Джона нет детей» имеет пресуппозицию, что его дети лысые. Аналогично, если высказывание «Кошка лежит на коврике» имплицитно «Я думаю, что кошка лежит на коврике», то абсолютно неверно считать, что высказывание «Я не думаю, что кошка лежит на коврике» имплицитно то, что кошка не лежит на коврике (во всяком случае, не в том же самом смысле слова «имплицитно»; кроме того, как мы уже видели, импликация для нас не имеет отношения к вопросу о несовместимости пропозиций).

Таким образом, существуют три случая, когда адресат не готов принять утверждение, которое не является ложным и вместе с тем не является полным бредом. Нам бы хотелось обратить внимание на то, что эти случаи соответствуют трем типам коммуникативных неудач, которые характерны для перформативных высказываний. Чтобы более наглядно представить это соответствие, обратимся к первым двум перформативным высказываниям:

4. «Завещаю вам свои часы, хотя [или: но] часов у меня нет»; или, быть может, кто-то говорит «Завещаю вам свои часы», когда на самом деле у него никаких часов нет.

5. «Обещаю вам там быть, хотя [или: но] я не собираюсь (у меня нет намерений) там быть»; или, возможно, кто-то другой говорит «Обещаю вам там быть», при том, что он не собирается (у него нет намерений) там быть.

Сопоставим ситуацию, представленную в примере 4, с ситуацией, представленной в примере 1; то есть со случаем пресуппозиции. Высказывания «Я завещаю вам свои часы» или «Я не завещаю вам свои часы» одинаково предполагают то, что у говорящего есть часы; существование часов в данном перформативном, как и в констативном высказывании, является пресуппозицией, потому что здесь идет речь о часах или по отношению к часам осуществляется референция. Как и тогда, когда мы занимались констативами, говоря о перформативах, мы можем, воспользоваться термином «пресуппозиция», а говоря о констативах, использовать по отношению к ним термин «неправильное (неверное) употребление», который был введен нами, когда мы изучали коммуникативные неудачи перформативов. Утверждение о детях Джона можно охарактеризовать как «неправильное из-за отсут-

ствия референта», и фактически это и сказали бы юристы по поводу рассматриваемой ситуации завещания.

Итак, мы рассмотрели первый случай, когда аномалия утверждения оказывается тождественной одному из типов коммуникативных неудач, типичных для перформативов.

Сравним теперь ситуацию в примере 5 с ситуацией в примере 2, то есть рассмотрим ситуацию, когда нечто «имплицуруется». Подобно тому, как мое высказывание про кошку, что она лежит на коврикe, имплицурует то, что я так думаю, точно так же мое обещание быть там имплицурует то, что я намерен быть там. Речевой акт утверждения и процедура его реализации предназначены для тех, кто искренне думает то, что о чем говорит, а акт обещания и соответствующая ему процедура придуманы для тех, у кого есть конкретное намерение, а именно сделать то, что обещано, каким бы это обещанное ни было. Если человек говорит нечто и при этом так не думает или опять-таки не имеет намерений, отвечающих содержанию его высказывания, то он в обоих случаях неискренен и неправильно использует данную процедуру. Если человек, делая утверждение или давая обещание, одновременно с тем заявляет, что вовсе так не считает или не собирается выполнить обещанное, то его высказывание является, если так можно выразиться, «внутренне неправильным» или «самоубийственным»; отсюда у нас возникает ощущение некоего издевательства, когда мы слышим подобные высказывания.

Таким образом, это был второй случай, когда аномалия утверждения идентична одному из типов неудач перформатива.

Вернемся теперь назад к ситуации, представленной в примере 3, то есть к случаю отношения следования между утверждениями. Можно ли найти какой-либо аналог для этого случая среди перформативов? Например, когда я высказываю утверждение «Все мои гости — французы», не даю ли я тем самым более или менее категоричное обязательство вести себя в дальнейшем определенным образом, в частности обязательство по отношению к утверждениям, которые я впоследствии буду делать? Если далее я утверждаю нечто, несовместимое с моим высказыванием (а именно с высказыванием «Все мои гости — французы»), то это будет нарушением обязательства, которое можно сравнить с тем, что бывает, когда вы говорите человеку «Рад приветствовать вас», а потом обращаетесь с этим человеком как с врагом, samozванцем либо непрошеным гостем, — или еще лучше пример — когда человек говорит «Я даю такое определение этому слову» (перформативное высказывание) и после этого продолжает употреблять то же слово, но совсем в другом значении.

Мне кажется поэтому, что не только неудачи присущи констати́вным высказываниям в не меньшей степени, чем перформативным,

но и что эти неудачи в действительности очень похожие. Кроме того, обладая ключом в виде списка возможных разновидностей неудач, отмеченных для перформативов, можно задаться вопросом, встречаются ли какие-то еще типы неудач у утверждений, кроме тех, что были только что названы? Часто, например, бывает так, что перформатив неверно употреблен, потому что его автор либо не в состоянии осуществить речевой акт, который изначально намеревался осуществить, либо не обладает необходимым статусом для его реализации. Если у меня нет власти над вами, то с моей стороны плохо будет сказать «Я приказываю вам»: я не могу вам приказывать, мое высказывание является неправильным, речевой акт здесь только подразумевается. Тем не менее, насколько мне известно, у людей сложилось впечатление, что, когда речь идет об утверждениях, то есть констативных высказываниях, ситуация иная: всякий человек вообще может утверждать что угодно. А что если человек недостаточно или плохо информирован? Ну, тогда он может ошибиться, вот и все. У нас ведь свободная страна, не так ли? Утверждать что-то, что не является безусловной истиной, — это одно из Прав Человека. Такое впечатление, однако, является ошибочным и может ввести в заблуждение. В жизни часто приходится видеть, что человек не может высказать о каких-то вещах ни одного утверждения просто потому, что не в состоянии сделать это, — и это тоже может происходить по самым разным причинам. Я не могу в настоящий момент сказать, сколько человек находится в соседней комнате: я их не видел, у меня нет об этом никакой информации. И все же, что будет, если я скажу «В настоящий момент в соседней комнате находятся 50 человек»? По-видимому, вы сочтете, что, говоря это, я высказал предположение или выдвинул гипотезу, но едва ли вы скажете, что я утверждал что-либо; ведь даже сказав это, вам придется добавить нечто вроде «но у него не было никаких оснований утверждать это». В данном случае высказывание «Я утверждаю...» находится точно в таком же положении, что и высказывание «Я приказываю...», сделанное, как мы помним, человеком, у которого на это нет никаких прав. А вот еще один пример. Ты доверительно признаешься мне: «Мне скучно», а я в ответ просто бросаю: «Нет, тебе не скучно». Ты взрываешься: «Что ты хочешь этим сказать? Какое право вообще ты имеешь говорить о том, что я чувствую?» А я тебе: «А ты что имеешь в виду, говоря о моем праве? Я просто утверждаю нечто о твоих чувствах, вот и все. Может быть, конечно, я ошибаюсь, ну и что тут такого? Думаю, любой человек всегда может сделать простое утверждение, да?» Нет, не всегда: обычно я ничего не могу утверждать о ваших чувствах, если вы их мне не раскрыли.

До сих пор я пытался обратить ваше внимание на два положения: на то, что не существует чисто языковых признаков, которые бы по-

звалили отделить перформативы от констати́вов, и на то, что неудачи, связанные с употреблением констати́вов, в точности такие же, как и неудачи, связанные с употреблением перформативов. Теперь мы должны спросить себя, а не является ли в конечном счете всякое произнесение констати́вного высказывания реализацией некоторого речевого акта, а именно акта утверждения? И является ли утверждение актом в том же смысле, что и замужество, извинение, заключение пари и т. п.? Сегодня я не знаю, как проникнуть глубже в тайны утверждений и у меня нет ответа на эти вопросы, хотя уже абсолютно очевидно, что, во-первых, формула «Я утверждаю, что...» очень похожа на формулу «Я предупреждаю тебя (вас), что...», и каждая такая формула в том виде, в каком мы ее приводим, призвана эксплицировать, какой именно речевой акту мы в данный момент осуществляем, и во-вторых, нельзя вообще произнести ни одного высказывания, чтобы не осуществить какой-либо речевой акт подобного типа.

По всей видимости, пришло время, когда стало действительно необходимым построение более общей теории речевых актов, и в рамках этой теории оппозиция «констати́в — перформатив» будет, скорее всего, снята.

Сейчас мне остается рассмотреть, причем очень бегло, вопрос о том, откуда возникло это всеобщее помешательство на тему того, что высказывания бывают или истинными, или ложными, что многие считают особенностью одних только утверждений и при этом возводят данное положение на пьедестал прежде, чем оно будет всесторонне проверено. И на сей раз мы начнем с перформативных высказываний: верно ли, что в них нет ничего такого, что хоть в малейшей степени было бы похоже на истину?

Прежде всего, очевидно, что если мы установили, что перформативное высказывание не является неудачным, то есть что его автор успешно и со всей искренностью осуществил требуемый перформативный акт, то это еще не означает, что данное высказывание нельзя подвергнуть какой-либо оценке: его можно оценивать всегда, причем по разным параметрам.

Предположим, я говорю вам: «Советую вам это сделать», и предположим также, что я произнес это высказывание в подходящем контексте и все условия его успешности выполнены. Тогда своим высказыванием я действительно советую вам сделать это — я не *утверждаю* здесь, истинно или ложно, что я советую. Следовательно, это перформативное высказывание. И все же один небольшой вопрос остается: этот совет был хорошим или плохим? Мы уже согласились с тем, что я говорил искренне, думал, что делаю это в ваших интересах, но был ли я прав? Было ли мое мнение в этих условиях оправданным? И опять-таки, —

хотя, возможно, здесь это чуть менее важно, — а было ли это сказано на самом деле в ваших интересах или просто так сложились обстоятельства? Между моим высказыванием, ситуацией, в которой оно было произнесено, и ситуацией, в отношении которой оно было высказано, существует конфронтация. Возможно, что я полностью оправдан, но был ли я при этом прав?

Многие другие высказывания, по своему характеру безусловно перформативные, тоже можно подвергнуть оценке этого второго типа. Предположим, что объявив обвиняемого виновным, вы были добросовестны и вынесли вердикт о виновности только на законных основаниях. Тем не менее остается открытым вопрос, а был ли приговор справедливым? Или беспристрастным? Допуская, что у вас было право наложить на нарушителя взыскания, как вы и поступили, и что при этом вы действовали без всякого злого умысла, можно, тем не менее, спросить, а заслуженным ли было это наказание. И снова здесь мы вступаем в конфликт с фактами, в том числе и с обстоятельствами, послужившими причиной для данного высказывания.

То, что не все перформативные высказывания можно подвергнуть такой квази-объективной оценке, — которая здесь преднамеренно оставлена весьма расплывчатой и многообразной, — может тоже оказаться верным.

Есть одна вещь, которую люди склонны особенно часто приводить в качестве возражения против какого-либо сопоставления оценок второго типа с оценкой, применяемой к утверждениям, а именно, не являются ли все эти вопросы о качестве, честности, справедливости, беспристрастности или законности абсолютно иного рода, чем вопросы об истинности и ложности? Это, конечно, очень простое решение, — либо черное, либо белое — то есть либо высказывание соответствует фактам, либо нет, вот и все.

Не думаю, однако, что решение этой проблемы действительно является настолько простым. Даже если и существует хорошо определенный класс утверждений и только им можно было бы ограничиться, все равно класс этот будет очень большим. В него попадут такие утверждения, как:

Франция — шестиугольная.

Лорд Реглан выиграл битву при Альме.

Оксфорд находится в 60 милях от Лондона.

Очевидно, что о каждом из этих утверждений можно спросить, истинно оно или ложно, но положительный или отрицательный окончательный ответ на этот вопрос следует ожидать лишь в весьма немногих и исключительно благоприятных случаях. Когда такой вопрос возникает, становится понятным, что каждое высказывание тем или иным

образом сталкивается с фактами. Очень хорошо, пусть так. Сопоставим тогда высказывание «Франция — шестиугольная» с Францией. Что мы должны о нем сказать — истинно оно или ложно? Такой вопрос очевидно упрощает реальное положение дел. Ладно, допустим, я понимаю, что вы хотите здесь сказать, и отвечаю: возможно, истинно в некоторых контекстах или для некоторых целей. Такой ответ, вероятно, будет достаточным для рядового гражданина, так сказать, человека с улицы, но никоим образом, не, например, для географа. Это грубое и расплывчатое утверждение; не отрицая его, едва ли кто возьмется прямо сказать, что оно ложно. Теперь об Альме, о месте боевого сражения, если такое вообще было. Верно, что лорд Реглан был главнокомандующим союзнической армии и что эта армия выиграла несколько странное сражение; да, утверждение о лорде Реглане было бы законным и даже вполне обоснованным, во всяком случае, для школьников, но на самом деле оно слегка преувеличенное. И теперь об Оксфорде. Ну да, верно, что он находится в 60 милях от Лондона, но ведь это только с определенной степенью точности!

Таким образом, под тем, что мы называем «истина», по сути дела скрывается не только простое качество или отношение и не только что-то *одно*, а целая область самых разных оценок. Мы можем понять, хотя, возможно, не вполне отчетливо, в чем состоит идея таких оценок. Ясно одно — в этой области следует рассматривать и взвешивать множество разных параметров, — не только сами события, но и факторы говорящего и адресата, цель высказывания, степень его точности и т. д. Если мы готовы рассматривать только idiotские или очень простые утверждения, то нам никогда не удастся отличить истинное от справедливого, обоснованного, законного, беспристрастного, заслуженного, точного, преувеличенного и под., и не понять, как различаются краткое и подробное изложения, изложение полное и сокращенное и т. д.

Возникает ощущение, что в будущем нам еще придется вернуться к противопоставлению «перформатив — констатив» и взглянуть на него как с позиций качественных, этических и других оценок второго типа, так и со стороны истинности-ложности. И повторю: мне представляется, что сегодня нам нужна новая, полная и точная, теория того, что *делает человек, когда говорит что-либо* (во всех смыслах этой многозначной фразы), то есть того, что я называю здесь речевым актом, теория, которая бы описывала речевой акт не в каком-то одном аспекте, абстрагируясь от всех остальных, а во всей его целостности.

II

Намерение и конвенция в речевых актах*

П. Ф. Стросон

I

Вопросы, которые я собираюсь обсудить в настоящей статье, связаны с введенными Дж. Л. Остином понятиями иллокутивной силы высказывания и иллокутивного акта, осуществляемого говорящим при произнесении высказывания¹⁾.

Однако прежде я должен сделать два предварительных замечания с тем, чтобы больше к ним не возвращаться. Первое замечание: Остин противопоставляет «нормальное», или «серьезное», использование речи случаям «стертого» (etiolated), или «паразитического», ее использования. Его учение об иллокутивной силе относится, по существу, к нормальному, или серьезному, использованию речи и не относится (по крайней мере непосредственно) к условному, или паразитическому, использованию; то же можно сказать и о моих комментариях к его учению. Я не утверждаю, что различие между нормальным, или серьезным использованием речи и вторичным использованием, которое Остин называет условным, или паразитическим, настолько четко, что не нуждается в дальнейшем исследовании; но я приму как факт, что такое различие существует, и далее его здесь рассматривать не буду.

Мое второе предварительное замечание связано с другим разграничением или парой разграничений, которые проводит Остин. Он различает иллокутивную силу высказывания и то, что он называет «значением» (meaning) высказывания, и проводит разграничение между иллокутивными и локутивными актами, осуществляемыми при производстве высказывания. В каждом из таких разграничений сомнение вызывает второй член. Остается ощущение, что Остин не пояснил, какие же именно абстракции из целостного речевого акта он хочет получить с помощью своих понятий значения и локутивного акта. По этому вопросу у меня есть своя точка зрения, но в данной статье речь идет не об этом.

* Strawson P. F. Intention and convention in speech acts // The Philosophical Review, vol. LXXIII, 1964, № 4. P. 439-460.

¹⁾ Все ссылки, если противное не оговаривается, относятся к работе Остина «Слово как действие» [Austin 1962b]. — Прим. перев.

Какие бы сомнения ни возникали относительно остиновских понятий значения и локутивного акта, для настоящих целей достаточно фиксировать — и это, я думаю, мы можем сделать с полной определенностью — следующее соотношение данных понятий с понятием иллокутивной силы. Значение (серьезного) высказывания, как полагает Остин, всегда включает некоторые ограничения на его возможную силу и иногда — как, например, в некоторых случаях использования эксплицитной перформативной формулы типа «Приношу свои извинения» — оно может полностью исчерпать его силу; другими словами, может оказаться, что в значении нет ничего, кроме силы; очень часто, однако, значение хотя и ограничивает иллокутивную силу, но не исчерпывает ее. Точно так же иногда мы не можем ничего сказать об иллокутивной силе высказывания, кроме того, что мы уже знаем, если нам известно, какой именно локутивный акт был осуществлен; но очень часто иллокутивная сила высказывания содержит больше того, что мы можем получить из знания осуществленного локутивного акта.

Этих двух замечаний вполне достаточно. Теперь я займусь подбором некоторых указаний в работе Остина относительно того, что он имеет в виду под силой высказывания и под иллокутивным актом. Эти два понятия связаны не настолько тесно, чтобы знание силы высказывания было равносильно знанию того, какой иллокутивный акт был реально осуществлен при произнесении этого высказывания. Действительно, если высказывание с иллокутивной силой, скажем, предостережение, не воспринимается аудиторией, которой оно адресовано, как предостережение, то (считается) нельзя говорить, что был реально осуществлен иллокутивный акт предостережения. «... Осуществление иллокутивного акта включает в себя обеспечение усвоения (securing of uptake)»; то есть со стороны слушающего должно быть «понимание значения и силы локуции»²⁾. По-видимому, мы можем выразить взаимосвязь этих понятий следующим образом: знание силы высказывания равносильно знанию того, какой иллокутивный акт, если таковой вообще имел место, был реально осуществлен при произнесении этого высказывания. Остин приводит много примеров и списков слов, которые помогают нам получить по крайней мере чисто интуитивное представление о том, что имеется в виду под «иллокутивной силой» и «иллокутивным актом». Кроме того, у него имеются на этот счет некоторые общие указания, которые могут быть распределены по четырем группам следующим образом:

1. Пусть мы знаем (в остиновском смысле) значение высказывания; тогда возникает следующий вопрос: *как сказанное задумывалось*

²⁾ Позже я вернусь к необходимости уточнения этого положения.

говорящим, или как произнесенные слова были использованы, или как высказывание должно было быть воспринято, или как его следовало воспринимать? Для того чтобы знать иллокутивную силу данного высказывания, мы должны знать ответ на этот вопрос.

2. Локутивный акт является актом произнесения чего-либо; иллокутивный акт — это акт, который мы осуществляем при произнесении чего-либо. Это то, что мы делаем при произнесении того, что мы произносим. Остин не считает данную характеристику удовлетворительным тестом для идентификации типов иллокутивных актов, так как при такой трактовке допускались бы многие типы актов, которые он не хотел бы считать иллокутивными.

3. Достаточным, хотя, на мой взгляд, и не обязательным, условием того, чтобы некоторый глагол считался именем определенного типа иллокутивного акта, является следующее: будучи оформлен в первом лице настоящего времени изъявительного наклонения, он может выступать в качестве так называемого эксплицитного перформатива. (Это последнее понятие я буду считать известным и понятным.)

4. Иллокутивный акт — это конвенциональный акт; акт, осуществленный согласно какой-либо конвенции. Как таковой он должен быть категорически противопоставлен осуществлению (producing) определенных воздействий, преднамеренных или непреднамеренных, посредством данного высказывания. Такое получение результатов, хотя оно тоже может часто описываться как акт говорящего (его *перлокутивный* акт), никоим образом не является конвенциональным актом. Остин много раз возвращается к «конвенциональной» природе иллокутивного акта и говорит также о конвенциях иллокутивной силы. И действительно, он отмечает, что, хотя существуют акты, которые вполне могут называться теми же именами, что и иллокутивные акты (например, акты предостережения), но которые осуществляются невербальным путем, без использования слов, однако, чтобы быть правильно названными этими именами, такие акты должны быть конвенциональными невербальными актами.

II

Будем считать, что мы достаточно прояснили предполагаемую суть остиновских понятий иллокутивной силы и иллокутивного акта и можем перейти к критике (путем разбора конкретных примеров) его общих положений, касающихся этих понятий. В качестве отправной точки анализа я возьму последнее из перечисленных выше общих положений — а именно положение о том, что приписывание высказыванию такой-то

и такой-то силы зависит от конвенции. Обычно это положение утверждается в работе Остина без какой-либо конкретизации. Но в одном месте мы находим любопытную конкретизацию данного утверждения. Говоря об использовании языка с определенной иллокутивной силой, Остин замечает, «что ее можно...назвать *конвенциональной* в том смысле, что она по крайней мере может быть эксплицирована посредством перформативной формулы» (р.103). К этому замечанию следует отнестись с особым вниманием, так как это первое явно выраженное утверждение относительно конвенциональной природы иллокутивного акта. Я вернусь к нему позже.

Пока же рассмотрим данное положение в его неуточненной форме. Почему Остин говорит, что иллокутивный акт является конвенциональным актом, то есть актом, выполняемым согласно некоторой конвенции? Прежде всего я должен упомянуть и исключить два возможных источника недоразумений. (Вероятно, это может показаться чрезмерной предосторожностью. Я приношу извинения тем, кто так считает.) Во-первых, мы можем согласиться (или не оспаривать), что любой речевой акт, как таковой, является, по крайней мере частично, конвенциональным актом. Осуществление любого *речевого* акта связано по крайней мере с соблюдением или использованием некоторых *языковых* конвенций, а каждый иллокутивный акт является речевым актом. Однако совершенно очевидно, что не это имеет в виду Остин, объявляя иллокутивный акт конвенциональным. К языковым конвенциям, повторил Остин, мы должны обращаться, чтобы определить, какой *иллокутивный* акт был осуществлен при произнесении высказывания и каково значение этого высказывания. Значит, положение, которое мы сейчас рассматриваем, — это дополнительное положение, заключающееся в следующем: если сила не исчерпывается значением, то этот факт (то есть факт, что высказывание имеет добавочную силу) также определяется конвенцией; или если сила исчерпывается значением, то и *этот* факт определяется конвенцией. Иллокутивный акт — например, предостережение — конвенционален не потому, что он является речевым актом. Невербальный акт предостережения, утверждает Остин, является таковым в силу конвенции точно так же, как иллокутивный — то есть вербальный — акт предупреждения является таковым в силу существующей конвенции.

Во-вторых, мы должны отбросить как нерелевантный тот факт, что мы можем делать утверждения типа следующего: то, что некоторый акт, например предостережения, правильно называется этим именем, зависит от конвенции. Действительно, если бы это считалось основанием для утверждения о конвенциональной природе иллокутивных актов, то любой поддающийся описанию акт (при правильном описании) являлся бы конвенциональным актом.

Зависимость иллокутивной силы от конвенции легко прослеживается на большом числе примеров. Действительно, очень многие виды взаимодействия между людьми, связанные с использованием речи, регулируются, а отчасти и формируются посредством того, что мы легко опознаем как конвенции, установленные для управления процедурой и дополняющие те конвенции, которые регулируют значения наших высказываний. Тот факт, что слово *guilty* 'виновен' произнесено старшиной присяжных в суде в надлежащий момент, делает его высказывание актом вынесения обвинительного приговора; и такое толкование данного высказывания, безусловно, определяется конвенциональными процедурами судопроизводства. Аналогично тот факт, что при игре в крикет судья, произнося *Out!* 'Аут!', осуществляет тем самым акт удаления отбивающего игрока с поля, вытекает из конвенции; ни игроки, ни зрители, кричащие «Аут!», такого акта осуществить не могут. Остин приводит и другие примеры, и мы, со своей стороны, могли бы привести много таких случаев, где несомненно имеются подпадающие ясной формулировке конвенции, касающиеся обстоятельств произнесения высказывания, — такие, что высказывание, имеющее определенное значение, произнесенное соответствующим лицом в надлежащих обстоятельствах, имеет данную силу вследствие согласованности с этими конвенциями. Примеры иллокутивных актов, для которых справедливо это утверждение, можно найти не только в сфере социальных институтов, имеющих юридический статус (таких, как церемония бракосочетания и сами судебные заседания), или в тех видах деятельности, которые регулируются определенным набором правил (таких, как крикет и игры вообще), но и во многих других областях человеческих взаимоотношений. Можно сказать, что акт *знакомства*, осуществляемый посредством произнесения слов *This is Mr. Smith* 'Это мистер Смит', является актом, осуществляемым согласно конвенции. Можно сказать, что акт *сдачи в плен*, осуществляемый посредством произнесения слова *Kamerad!* и поднятия рук при встрече с противником, является (стал) актом, осуществляемым согласно принятой конвенции, конвенциональным актом.

Однако столь же очевидным представляется и то, что, хотя обстоятельства произнесения высказывания всегда релевантны для определения иллокутивной силы высказывания, существует много случаев, когда осуществление иллокутивного акта не подчиняется какой бы то ни было принятой конвенции (кроме тех языковых конвенций, которые помогают выявить значение высказывания). Иначе говоря, кажется очевидным, что существует много случаев, когда иллокутивная сила высказывания, хотя и не исчерпывается его значением, тем не менее не обусловлена никакими конвенциями, кроме тех, которые помогают

приписать высказыванию его значение. Несомненно, могут существовать такие случаи, когда слова *The ice over there is very thin* 'Там очень тонкий лед', обращенные к конькобежцу, выражают предостережение (то есть обладают иллюкутивной силой предостережения), хотя нет никакой поддающейся формулировке конвенции (отличной от тех, которые касаются природы данного *локутивного* акта). — конвенции, согласно которой якобы осуществлен иллюкутивный акт говорящего.

Вот другой пример. Мы легко можем представить себе обстоятельства, при которых произнесение слов *Don't go* 'Не уходи' будет правильно описываться не как просьба или приказ, а как мольба. Я не собираюсь отрицать, что могут быть конвенциональные позы или процедуры, связанные с мольбой: можно, например, опуститься на колени, воздеть руки сказать: «Я умоляю вас». Но что я действительно отрицаю, это то, что акт мольбы может быть выполнен будто бы только в соответствии с некоторыми такими конвенциями. Факторы, которые превращают слова *X*-а, обращенные к *Y*-у, в мольбу не уходить, образуют некий комплекс (без сомнения, достаточно сложный), касающийся положения *X*-а, отношения его к *Y*-у, его поведения и возникшего намерения. Здесь есть вопросы, которые мы должны обсудить позже. Однако предполагать, что во всех случаях обязательно существует конвенция, согласно которой осуществляется акт, равносильно было бы предположению, что не может быть любовных положений, развивающихся по иной модели, чем та, что описана в «Романе о Розе»³⁾, или что любой спор между мужчинами должен следовать схеме, обрисованной в речи Оселки относительно возражений вздорных и лжи явной⁴⁾.

Еще один пример. В ходе философской дискуссии (или, если угодно, политических дебатов) один из выступающих *выдвигает возражение* по поводу высказывания предыдущего оратора. *X* говорит (или предполагает), что *p*, а *Y* возражает, что *q*. Высказывание *Y*-а имеет силу возражения по отношению к утверждению (или предположению) *X*-а, что *p*. Но где же здесь конвенция, которая делает высказывание *Y*-а возражением? То, что высказывание *Y*-а имеет иллюкутивную силу возражения, может частично вытекать из характера диспута и из характера утверждения (или предположения) *X*-а, частично же это, безусловно, связано с точкой зрения *Y*-а на эти вещи, следуя которой он считает, что суждение, что *q*, таким-то и таким-то образом связано с заявлением (или предположением), что *p*. Хотя в данном случае и возможно наличие какой-то конвенции, отличной от тех языковых конвенций,

³⁾ «Роман о Розе» — французская аллегорическая поэма XIII века. — Прим. перев.

⁴⁾ Оселок — шут из комедии Шекспира «Как вам это понравится». — Прим. перев.

которые помогают определить значения высказываний, но оно (наличие такой конвенции) отнюдь не обязательно.

В дальнейших примерах, я думаю, нет необходимости. По-видимому, совершенно ясно, что если мы берем выражения «конвенция» и «конвенциональный» по крайней мере в их самом обычном значении, то положение о конвенциональной природе иллокутивного акта в общем случае оказывается неверным. Одни иллокутивные акты конвенциональны, другие — нет (исключая их конвенциональность в качестве локутивных актов). Почему же тогда Остин постоянно утверждает обратное? Маловероятно, что он совершил простую ошибку, сделав универсальное обобщение на основе нескольких примеров. Гораздо вероятнее, что он имел в виду некоторое другое, более фундаментальное свойство иллокутивных актов, которое мы, собственно, и должны обнаружить. Хотя мы можем считать, что дескрипция «конвенциональный» используется неправомерно, можно тем не менее предположить, что не следует жалеть времени на выяснение причины использования Остином этого термина. Здесь уместно вспомнить его странное уточняющее замечание, что осуществление иллокутивного акта или использование предложения с определенной иллокутивной силой «можно считать конвенциональным в том смысле, что по крайней мере ее можно было бы эксплицировать посредством перформативной формулы» (p.103).

По поводу этого высказывания мы склонны прежде всего, и притом справедливо, заметить, что у выражения «быть конвенциональным» нет такого *смысла*, что если приведенная формулировка и является описанием *смысла* какого-либо выражения, имеющего отношение к делу, то это смысл выражения «быть способным быть конвенциональным». Но, хотя это и верное замечание по поводу высказывания Остина, мы не должны им ограничиться, прекратив обсуждение данного высказывания. Что бы ни заставляло Остина называть иллокутивные акты в общем случае «конвенциональными», соответствующие факторы должны быть тесно связаны с теми свойствами таких актов, как предостережение, мольба, извинение, совет, которые объясняют тот факт, что *они* по крайней мере *могли бы* быть эксплицированы с помощью соответствующих перформативных форм 1-го лица. Поэтому мы должны задаться вопросом, что же в них есть такого, что объясняет этот факт. Очевидно, неверным будет ответ, что они просто являются актами, которые могут быть осуществлены с помощью слов. То же можно сказать и о многих (перлокутивных) актах, таких, как убеждение, разубеждение, поднятие тревоги и развлечение кого-либо, для которых, как указывает Остин, нет соответствующей *перформативной* формулы 1-го лица. Таким образом, необходим дальнейший поиск объяснения.

III

На мой взгляд полезным в данном случае может оказаться понятие, введенное Г. П. Грайсом в его важной статье «Значение» [Grice 1957], а именно: *понятие субъективного значения, то есть того, что конкретный говорящий имеет в виду под своим высказыванием*. Понятие это применимо не только к речевым актам — то есть к тем случаям, когда говорящий выражает субъективное значение с помощью языкового высказывания. Оно имеет более широкое применение. Однако удобно называть то, с помощью чего *S* (speaker) выражает субъективное значение, *высказыванием S*. Объяснение введенного понятия дается с помощью понятия намерения⁵⁾. *S* выражает субъективное значение при помощи высказывания *x*, если *S* намерен (*i*₁) произнесением *x* вызвать определенную реакцию (*r*) у слушающего *A* и имеет в виду⁶⁾ (*i*₂), что *A* опознает его намерение (*i*₁), и имеет в виду (*i*₃), что это опознание его намерения (*i*₁) со стороны *A* явится основанием (или частичным основанием) для реакции *r*. (Слово *response* 'ответ, реакция' не является идеальным, хотя в некоторых отношениях удобнее грайсовского *effect* 'воздействие, результат, эффект'. Оно должно покрывать как когнитивные и аффективные состояния или отношения, так и действия.) Важный момент в этом определении, очевидно, состоит в том, что обеспечение реакции *r* считается опосредованным через обеспечение другого (и всегда когнитивного) эффекта в уме *A*, а именно распознавания намерения *S* обеспечить реакцию *r*.

Грайсовский анализ этого понятия довольно сложен. На мой взгляд, однако, даже поверхностное размышление показывает, что для целей, которые он преследует, сложность эта недостаточна. Анализ Грайса, без сомнения, предлагается в качестве анализа ситуации, при которой некое лицо пытается осуществить процесс общения с другим лицом (в том смысле слова «общение», которое является фундаментальным для любой теории значения)! Однако можно представить себе ситуацию, при которой три условия Грайса были бы удовлетворены лицом *S*, и тем не менее в указанном важном смысле слова «общение» про *S* нельзя было бы сказать, что он пытается посредством произнесения *x* осуществить процесс общения с *A*, у которого он старается вызвать реакцию *r*. Приступим к описанию такой ситуации.

⁵⁾ Английский термин *intention* передается иногда по-русски как 'интенция'. — Прим. ред. (Примечания, помеченные как *Прим. ред.* в статьях П. Ф. Стросона и Дж. Л. Сёрла, сделаны Б. Ю. Городецким.)

⁶⁾ Английский глагол *intend* может переводиться как 'намереваться, хотеть, иметь в виду'. — Прим. ред.

S намерен с помощью определенного действия вызвать у *A* убеждение, что *p*; таким образом, *S* удовлетворяет условие (i_1). Он организует убедительное на вид «свидетельство» того, что *p*, в таком месте, где *A* обязательно должен это заметить. Он делает это, зная, что *A* наблюдает за его работой, но также *зная что A не знает, что S знает, что A наблюдает за его работой*. Он понимает, что *A* не примет организованного «свидетельства» в качестве подлинного и естественного свидетельства того, что *p*, но понимает (и на самом деле имеет это в виду), что *A* воспримет его приготовления как основание думать, что он, *S*, намерен вызвать у *A* убеждение, что *p*. То есть он хочет, чтобы *A* узнал его намерение (i_1). Этим *S* удовлетворяет условие (i_2). Он знает, что у *A* есть общие основания полагать, что *S* не вознамерился бы заставлять его, *A*, думать, что *p*, если бы *S* действительно не знал, что *p* и следовательно, то самое распознавание со стороны *A* его (*S*) намерения вызвать у *A* убеждение, что *p*, будет в действительности казаться *A* достаточной причиной для того, чтобы поверить, что *p*. *A* он хочет, чтобы опознание со стороны *A* его намерения (i_1) действовало бы именно таким образом. Этим он удовлетворяет условие (i_3).

S, таким образом, удовлетворяет все условия Грайса. На самом деле ясно, что здесь нет попытки общения в том смысле, который (я думаю, справедливо предположить) Грайс стремится прояснить. *A*, безусловно, будет считать, что *S* старается вызвать у *A* знание некоторого факта; но он не будет рассматривать поведение *S* как попытку, в общепринятом смысле, «дать ему знать» нечто (или «сказать» ему нечто). Но ведь если *S* не добьется хотя бы того, чтобы *A* считал, что он (*S*) пытается дать ему (*A*) знать нечто, его общение с *A* нельзя считать состоявшимся; и если, как в нашем примере, он даже не пытался это осуществить, значит, он даже не пытался общаться с *A*. По-видимому, следующее минимальное условие его попытки осуществить общение — это не только его желание, чтобы *A* распознал его намерение побудить *A* думать, что *p* но также желание, чтобы *A* распознал его намерение побудить *A* распознать его намерение побудить *A* думать, что *p*.

Мы можем еще больше приблизиться к коммуникативной ситуации, если изменим пример, предположив, что не только для *A* и *S* ясно, что *A* наблюдал за работой *S*, но для обоих также ясно, что им обоим это было ясно. Я удовлетворюсь, однако, тем выводом, который можно извлечь из уже рассмотренного примера, а именно, что мы должны добавить к условиям Грайса еще одно условие: *S* должен иметь еще одно намерение (i_4), связанное с желанием, чтобы *A* узнал его намерение (i_2). По-видимому, можно было бы привести еще и другие аргументы, чтобы показать, что даже добавление этого условия не является достаточным для превращения рассматриваемой ситуации

в попытку общения. Но на данный момент я удовлетворюсь тем, что по крайней мере это добавление необходимо.

На этом этапе можно было бы рассчитывать встретить в работе Грайса объяснение того, что значит, что *A* понимает нечто под высказыванием *x*, — объяснение, комплементарное к объяснению того, что значит для *S* подразумевать (mean) нечто под высказыванием *x*. В действительности Грейс не дает такого объяснения, и я предлагаю способ, по крайней мере частичного, восполнения этого пробела. Я говорю «по крайней мере частичного», потому что неопределенность, касающаяся достаточности даже расширенного набора условий для описания ситуации, когда *S* выражает некоторое субъективное значение посредством высказывания *x*, отражается в соответствующей неопределенности, касающейся достаточности условий понимания для *A*. Но на данный момент мы опять же можем удовлетвориться необходимыми условиями. Я предлагаю поэтому считать, во-первых, что для того, чтобы *A* понимал (в соответствующем смысле слова «понимать») нечто под высказыванием *x*, необходимо (и возможно, достаточно), чтобы существовало некоторое сложное намерение типа (i_2), описанное выше, которое, по мнению *A*, имеет *S*, и, во-вторых, что для того, чтобы *A* понял высказывание правильно, необходимо, чтобы *A* считал, что *S* имеет то сложное намерение типа (i_2), которое и в действительности есть у *S*. Другими словами, для того чтобы *A* понял высказывание правильно, должны быть выполнены намерение *S* (i_4) и, следовательно, его намерение (i_2). Конечно, выполнение этих намерений не влечет за собой ни выполнения намерения (i_1), ни, следовательно, выполнения намерения (i_3).

По-видимому, именно в этом пункте можно надеяться найти возможную точку соприкосновения с остиновским термином «обеспечение усвоения». Если нам удастся обнаружить такую общую точку, мы найдем и вероятную отправную точку для по крайней мере частичного анализа понятий иллокутивной силы и иллокутивного акта. Действительно, обеспечение усвоения — это обеспечение понимания (значения и) иллокутивной силы; а обеспечение понимания иллокутивной силы, как указывает Остин, является существенным элементом успешного осуществления иллокутивного акта. Правда, это положение Остина может быть оспорено⁷⁾. Например, человек, без сомнения, может фактически распорядиться наследством или сделать подарок, даже если никто не читал его завещания или дарственной. Вместо этого соблазнительно было бы сказать, что если не реализация, то по крайней мере наличие цели обеспечить усвоение является существенным элементом выполнения иллокутивного акта. Однако и по поводу данной формулировки

⁷⁾ Последующие возражения мне подсказаны профессором Хартом.

возникает возражение. Разве человек не мог бы реально совершить дар в надлежащей форме и испытывать от этого определенное удовлетворение, даже если бы у него не было надежды, что кто-нибудь когда-нибудь узнает об этом факте? Но данное возражение, самое большее, вынуждает нас сделать поправку, которую мы должны сделать в любом случае⁸⁾, а именно: цель, если не реализация, обеспечения усвоения является *если не постоянным*, то, по существу, *стандартным* элементом при осуществлении иллокутивного акта. Таким образом, анализ цели обеспечения усвоения остается существенным элементом при анализе понятия иллокутивного акта.

IV

Попробуем теперь отождествить — с последующим уточнением и пересмотром — остиновское понятие усвоения с тем, по крайней мере частично проанализированным, понятием понимания (со стороны слушающего), которое я только что ввел в качестве комплементарного к грайсовскому понятию субъективного значения, выражаемого неким лицом посредством высказывания. Так как понятие понимания со стороны слушающего представлено более полным (хотя и частичным) анализом, чем любой анализ, который Остин дает для понятия усвоения, данное отождествление эквивалентно предварительному (и частично-му) анализу понятия усвоения и отсюда — понятий иллокутивного акта и иллокутивной силы. Если бы такое отождествление оказалось верным, то из этого следовало бы, что произнести нечто с определенной иллокутивной силой — значит по меньшей мере (в стандартном случае) иметь определенное сложное намерение типа (i_4), описанное в ходе изложения и видоизменения доктрины Грайса.

Следующий этап — проверка адекватности и объяснительной силы этого частичного анализа путем выяснения, насколько глубоко он позволяет объяснить другие положения остиновской доктрины относительно иллокутивных актов. Нас интересуют два момента. Первый — то место, где Остин утверждает, что производство высказывания с определенной иллокутивной силой является конвенциональным актом в том неконвенциональном смысле слова «конвенциональный», который он истолковывает в терминах общей способности иллокутивных актов эксплицироваться с помощью явной перформативной формулы. Второй — то место, где Остин рассматривает возможность общей характеристики иллокутивного акта как того, что мы *делаем при произнесении* тех или иных слов. Он отмечает неудовлетворительность этого определе-

⁸⁾ Так как иллокутивный акт может быть полностью осуществлен непреднамеренно.

ния, допускающего в качестве иллокутивных акты, которые таковыми не являются; и мы можем выяснить, помогает ли предложенный анализ объяснить исключение из класса иллокутивных тех актов, которые подпадают под вышеприведенное определение и которые Остин хочет исключить. Два этих момента тесно связаны друг с другом.

Итак, обратимся к утверждению о способности, общей для всех иллокутивных актов, быть осуществленными с помощью эксплицитной перформативной формулы. Объяснение этого свойства иллокутивных актов происходит в два этапа; первый касается общих, второй — специальных свойств намерения. Первый аспект в общих чертах можно выразить так: обычно человек может говорить о своем намерении, сопутствующем совершению некоторого действия, с той долей авторитетности, которая не поддается его контролю при предсказании результатов. Его намерение что-то сделать зависит от него самого в том же смысле, в каком результат его действия не зависит (или зависит не только) от него. Нас, однако, интересует не любое намерение вызвать с помощью действия какой угодно эффект, но совершенно особый случай. Мы рассматриваем случай, когда налицо не просто намерение вызвать определенную реакцию у слушающего, но намерение вызвать эту реакцию посредством распознавания со стороны слушающего намерения вызвать эту реакцию (причем это распознавание должно служить в качестве частичного основания для реакции слушающего, а намерение вызвать это распознавание само является объектом намерения вызвать его распознавание). Говорящий, таким образом, не только несет общую ответственность за содержание своего намерения, которую несет любой производящий действие человек; у него имеется также причина, неотделимая от природы выполняемого им акта, сделать это намерение явным. Потому что он не обеспечит понимания иллокутивной силы своего высказывания, не осуществит акт общения, который он собирается осуществить, если слушатель не уловит его сложного намерения. Теперь понятно, что, для того чтобы этот акт вообще был возможен, должны существовать или говорящий должен найти средства сделать свое намерение явным. Если существуют какие-либо способствующие этому конвенциональные языковые средства, говорящий имеет право и мотив использовать их. Одним из таких имеющихся иногда в наличии средств, которое очень схоже с использованием эксплицитной перформативной формы, служит присоединение или приписывание в конце к основному содержанию сообщения некоего как бы поясняющего смысла этого сообщения комментария, который может иметь, а может и не иметь форму приписывания от 1-го лица. Так мы имеем фразы типа «Это только предположение» или «Я только предполагаю» или схожие «Это было предостережение» и «Я предостерегаю вас». Я повторяю, что

при использовании таких фраз говорящий, как и любой другой, должен нести *ответственность* за содержание своих намерений и иметь *мотив*, неотделимый, как я пытался показать, от акта общения.

От таких фраз, как эти, — имеющих *вид* комментария к высказыванию, отличному от самого комментария, — до эксплицитных перформативных формул один короткий шаг. Причина, по которой я *квалифицирую* эти фразы как комментарий к высказываниям, отличным от самих комментариев, состоит в следующем. Мы разбираем случай, когда высказывание и приписанный к нему квазикомментарий адресуются одному и тому же слушающему. Так как *частью* намерения говорящего, обращенного к слушающему, является прояснение характера своего высказывания (например, что это предостережение) и так как добавленный квазикомментарий непосредственно помогает прояснить намерение, правильнее рассматривать данный случай, несмотря на его поверхностное выражение, не как два высказывания — одно, комментирующее другое, — а как единый цельный речевой акт. Грубо говоря, добавление квазикомментария «Это было предостережение» является *частью* целостного акта предостережения. Короткий шаг по направлению к эксплицитной перформативной формуле состоит просто в приведении в соответствие видимости и реальности. Как только этот шаг сделан, мы имеем, даже на поверхностном уровне, уже не два высказывания (одно — комментарий другого), но единое высказывание, в котором перформативный глагол ясно *обнаруживает* то особое логическое свойство, о котором так много и справедливо говорил Остин и которое мы можем выразить в данном контексте следующим образом: глагол служит не для того, чтобы *приписать* говорящему намерение, а для того, чтобы, по выражению Остина, *сделать эксплицитным* тип коммуникативного намерения, которое имеется у говорящего, тип силы, которую имеет высказывание.

Все вышесказанное может рассматриваться как распространение общей возможности использования эксплицитной перформативной формулы на иллокутивные акты, не являющиеся по природе своей конвенциональными. Вероятно, можно возразить, что такое распространение не показывает, что намерения, выраженные эксплицитно с помощью перформативных формул, *в общем случае* должны быть именно описанной сложной формой, и, следовательно, не обосновывает утверждения, что именно этот тип намерения лежит в основе всех иллокутивных актов. И действительно, мы увидим, что такое утверждение было бы ошибкой. Но прежде, чем обсуждать, почему это так, мы продолжим анализ, касающийся второго упомянутого мною пункта. Посмотрим, как предложенный анализ объясняет тот факт, что некоторые действия, которые мы *выполняем при произнесении* того, что

мы говорим, не являются иллокутивными актами и не могли бы быть эксплицитно представлены с помощью перформативной формулы.

Среди упомянутых Остином действий, которые мы можем выполнять с помощью слов, но которые не являются иллокутивными актами, я рассмотрю два примера: (1) похвалиться и (2) намекать. Когда мы рисуемся перед кем-нибудь, мы определенно стараемся произвести впечатление на слушающего: мы говорим, конечно, ради эффекта; мы стараемся поразить, вызвать реакцию восхищения. Но намерение обеспечить данное воздействие не содержит в качестве составной части намерение обеспечить это воздействие *посредством* распознавания самого намерения его обеспечить. В наше целостное намерение вообще не входит цель обеспечить распознавание намерения произвести данное впечатление. Напротив, опознание нашего намерения могло бы помешать обеспечению данного воздействия и вызвать противоположный эффект, например отврашение.

Из вышесказанного вытекает следующее общее положение, не рассматривавшееся в явном виде Остином, но удовлетворительно объясняемое предложенным анализом. При произнесении какого-либо высказывания мы очень часто намереваемся не только вызвать первичную реакцию *r* через средство узнавания со стороны слушающего намерения вызвать эту реакцию, но также намереваемся оказать последующее воздействие через средство этой первичной реакции *r*. Так, когда я вам сообщаю, что *p* (то есть намереваюсь вызвать у вас первичную когнитивную реакцию, заключающуюся в том, что вы будете знать или полагать, что *p*), моей следующей целью может быть намерение принудить вас этим самым выбрать определенную линию поведения или определенную позицию. Таким образом, в процессе говорения частью того, что я *делаю*, является попытка определенным образом воздействовать на вашу позицию или поведение. Участвует ли эта часть того, что я *делаю* в процессе говорения, в определении характера иллокутивного акта, который я осуществляю? И если нет, то почему? Если мы считаем, что первый вопрос поставлен и сформулирован строго, ответ будет «Нет». Такой ответ продиктован следующим анализом. У нас нет сложного намерения (i_4), направленное на распознавание намерения (i_2), направленного на распознавание намерения (i_1), направленного на достижение последующего воздействия; в наше намерение не входит вызывать последующую реакцию путем распознавания нашего намерения вызвать эту реакцию; вызванное у слушающего убеждение, что *p*, само должно являться средством повлиять на его позицию или поведение. Мы обеспечиваем усвоение, выполняем акт общения, который мы собирались выполнить, в том случае, если слушающий понимает, что мы *сообщаем* ему, что *p*. Хотя верно, что при произнесении того, что

мы говорим, мы фактически *стареемся* оказать последующее воздействие — это часть того, что мы *делаем*, независимо от того, удалось нам оказать это воздействие или нет, — однако это не входит в характеристику иллюкутивного акта. Этот случай должен быть противопоставлен тому случаю, когда вместо намерения вызвать первичную реакцию и последующее воздействие (при этом последнее обеспечивается исключительно первым) мы намереемся вызвать сложную первичную реакцию. Так, в том случае, когда я не просто сообщаю, но предостерегаю вас, что *p*, среди намерений, распознавания которых я от вас хочу (при этом хочу, чтобы вы поняли, что я хочу, чтобы вы о них знали), содержится не только намерение убедить вас, что *p*, но и намерение насторожить вас относительно *p*-опасности. Различие (одно из различий) между актом похвалы и актом предостережения заключается в том, что ваше узнавание моего намерения насторожить вас может в значительной степени способствовать тому, чтобы вы насторожились, в то время как ваше узнавание моего намерения поразить вас, по-видимому, не способствует произведению на вас впечатления (или не способствует в том смысле, который я предполагал)⁹⁾.

Намек не относится к иллюкутивным актам по другой причине. Существенным свойством намерений, составляющих иллюкутивный комплекс, является их открытость. Можно сказать, что они предназначены для открытого узнавания. В одном отношении это логически запутывающее свойство. Мы уже отметили, что ввиду контрпримеров на грайсовский анализ коммуникативного акта в терминах трех типов намерений — (i_1), (i_2) и (i_3) — нам пришлось добавить намерение (i_4), направленное на узнавание намерения (i_2). Тем не менее у нас нет доказательств, что получившееся расширенное множество условий достаточно для полного анализа. При определенной изобретательности можно показать, что это не так; и, по-видимому, ничто не мешает наличию регрессивного ряда намерений, направленных на распознавание намерений. В то время как в этой ситуации, на мой взгляд, нет ничего непременно вызывающего возражения, она действительно предполагает, что полное и завершенное множество условий, к которому мы стремились при конвенциональном анализе, достижимо в этих терминах не просто и не наверняка. Вот почему я говорю о рассматриваемом свойстве в таких терминах. Вот почему я говорю о рассматриваемом

⁹⁾ Возможно, что старание произвести на кого-нибудь впечатление может иногда иметь иллюкутивный характер. Например, я могу стараться поразить вас своей *наглостью*, намереваясь, чтобы вы узнали это намерение и желая, чтобы ваше узнавание действовало как частичная причина вашего изумления, и т. д. Но тогда я не *просто* стараюсь поразить вас; я *провоцирую* вас на это. Этим примером я обязан Б. Ф. Мак-Гиннесу.

свойстве как логически запутывающем. В то же время оно позволяет нам легко представить намек как кандидата на статус одного из типов иллокутивного акта. Суть намека заключается в том, что слушающий должен *подозревать* (но не более этого) наличие определенного намерения, например намерения вызвать или раскрыть определенное убеждение. Намерение, которое имеет человек, говорящий намеками, по существу своему не предназначено к открытому узнаванию.

Подведем теперь некоторые итоги. В порядке рабочей гипотезы мы выдвинули положение, что для обеспечения понимания иллокутивной силы высказывания должно соблюдаться необходимое условие, заключающееся в следующем: при произнесении высказывания говорящий должен добиться того, чтобы слушающий осознал наличие у него сложного намерения определенного вида, а именно: намерения, направленного на то, что слушающий должен опознать (и понять, что такое опознание предполагалось) намерение говорящего вызвать у него, слушающего, определенную реакцию. Это предположение обладает, как мы только что видели, определенной объяснительной силой. Тем не менее мы не можем применять его во всех случаях даже в качестве частичного анализа понятий иллокутивной силы и иллокутивного акта. Разберем некоторые причины такого положения.

V

Я упомянул ранее, что слова *Don't go* 'Не уходи' могут иметь, *помимо всего остального*, силу либо просьбы, либо мольбы. И в том и в другом случае первичное намерение высказывания (если мы полагаем, что эти слова сказаны со смыслом *Don't away*) — побудить лицо, которому адресуется высказывание, остаться на месте. То, что это лицо останется на месте, и будет первичной реакцией, которой добивается говорящий. Однако все другие намерения, упомянутые в нашей схеме частичного анализа, относятся прямо или косвенно к узнаванию этого первичного намерения. Как же тогда в терминах данной схемы должны мы объяснить различие в иллокутивной силе между актами просьбы и мольбы?

По-видимому, ответ на этот вопрос в терминах данной схемы не вызывает больших трудностей. Как представляется, схема просто требует дополнения и обогащения. *Мольба*, например, это попытка обеспечить первичную реакцию не только на основе опознания слушающим намерения обеспечить ее, но благодаря опознанию слушающим сложного поведения, составную часть которого составляет это первичное намерение. Желание, чтобы некто не уходил, может быть выражено различными способами: страстно или безразлично, уверенно или безнадёжно; и в намерение говорящего по каким-либо причинам может

входить стремление обеспечить опознание *способа*, каким он выражает свое желание. В случае мольбы наиболее очевидной причиной является убеждение или надежда, что такое откровение с наибольшей вероятностью обеспечит осуществление первичного намерения.

Однако человек может не только просить или умолять; он может *приказать* кому-нибудь оставаться на месте. Слова «Не уходи» могут иметь иллюкативную силу приказа. Можем ли мы так же легко подстроить нашу схему к этому варианту иллюкативной силы? Можем, хотя и не так просто. Можно сказать, что человек, отдающий приказ, обычно намерен своим высказыванием обеспечить определенную реакцию, что он хочет, чтобы это его намерение было опознано и чтобы опознание это служило основанием для данной реакции; что в его намерения входит, чтобы его высказывание было распознано в связи с определенным социальным контекстом, в котором определенные правила или конвенции играют определенную роль при произнесении высказываний и в котором необеспечение первичной реакции может повлечь за собой определенные последствия; что он имеет в виду, что это намерение также будет распознано, и, наконец, что он имеет в виду, что распознавание этого его последнего «намерения о намерении» будет служить одним из оснований для данной реакции со стороны слушающего.

Очевидно, что в этом случае в отличие от акта мольбы схема должна быть расширена с тем, чтобы включить эксплицитную отсылку к социальной конвенции. С некоторыми усилиями она может быть так расширена. Но по мере нашего продвижения в область учреждаемых процедур схема не выдерживает. С одной стороны, один из ее основных признаков — ссылка на намерение обеспечить определенную реакцию слушающего (вдобавок к обеспечению усвоения) — должен быть исключен. С другой стороны, отсылка к социальным процедурным конвенциям приобретает гораздо большее значение. Возьмите судью в крикете, который объявляет, что отбивающий выходит из игры, присяжных, выносящих обвинительный приговор, игрока, удваивающего ставки в бридже, священника или должностное лицо, которое объявляет вступающих в брак мужем и женой. Можем ли мы сказать, что первичное намерение у судьи в крикете — обеспечить определенную реакцию (скажем, выход из игры) со стороны определенного слушающего (скажем, отбивающего), у присяжных — обеспечить определенную реакцию (скажем, объявление приговора) со стороны определенного слушающего (скажем, судьи), а затем строить вокруг этого весь остальной анализ, как мы с некоторой натяжкой сделали это в случае приказа? По-видимому, нет. Не представляется даже возможным выделить в каком-либо смысле, отличном от формального, из всех участников процедуры

(суда, бракосочетания, игры), к которой принадлежит высказывание, конкретную часть аудитории, которой адресовано высказывание.

Означает ли это, что предложенный мною подход к разъяснению понятия иллокутивной силы полностью ошибочен? Не думаю. Скорее мы должны выделить различные типы случаев; и затем выяснить то общее, что имеется у выделенных нами типов, если у них вообще есть что-то общее. У Грайса мы первоначально взяли — с модификациями, — по крайней мере частично, аналитическое объяснение акта общения, который, безусловно, может быть выполнен невербальным способом и тем не менее будет обнаруживать все основные характеристики (невербального) эквивалента иллокутивного акта. Мы получили больше этого. Данное объяснение позволяет нам понять, как на основе языковых средств такой акт может быть сделан все более конвенциональным вплоть до того момента, когда иллокутивная сила исчерпывается уже значением (в остиновском смысле): и при таком понимании понятие полностью открытого или, по сути своей, предназначенного для открытого опознания намерения играет существенную роль. Очевидно, в этих случаях сам иллокутивный акт не является *в основе своей* конвенциональным актом, — актом, выполненным согласно конвенции; может быть так, что акт конвенционален, выполнен согласно конвенции только в той степени, в какой *средства, используемые для его осуществления*, являются конвенциональными. Если ограничиться рассмотрением только тех конвенциональных средств, которые являются одновременно *языковыми* средствами, то можно сказать, что степень, в которой акт является конвенциональным, зависит, по-видимому, исключительно от степени, в которой конвенциональное языковое значение исчерпывает иллокутивную силу.

На другом конце шкалы — конце, с которого, можно сказать, начал Остин, — находятся иллокутивные акты, *являющиеся* по своей сути конвенциональными. Подтверждением служат только что приведенные мною примеры — бракосочетание, удвоение ставок, вывод отбивающего из игры, объявление приговора, вынесение обвинительного приговора. Эти акты не могли бы существовать вне регулируемых правилами или конвенциями обычаев и процедур, существенной частью которых они являются. Возьмем стандартный случай, когда участники этих процедур знают правила и свои роли и стараются играть, не нарушая правил. Затем они сталкиваются со случаями, когда они должны или могут произвести иллокутивный акт, являющийся составной частью (или способствующий ходу) деятельности или процедуры в целом; и иногда им приходится делать выбор, ограниченный небольшим числом альтернатив (например, пасовать или удваивать ставку; выносить приговор о заключении в тюрьму на срок, не превышающий

определенного предела). Между такого типа актами и иллюкутивными актами, по природе своей неконвенциональными, существует значительное сходство и значительное различие. Сходство заключается в том, что когда высказывание составляет часть деятельности или процедуры, регулируемых правилами, то обычно своим высказыванием говорящий намерен способствовать ходу (или влиять на ход) данной процедуры одним из имеющихся альтернативных способов и желает, чтобы данное высказывание было воспринято именно с этих позиций. Я не хочу сказать, что такой акт *никогда* не мог бы быть выполнен *непреднамеренно*. У игрока может случайно вырваться слово «удваиваю», хотя он не имел *этого в виду*; но при соответствующих обстоятельствах и строгом соблюдении правил он *должен* удвоить ставку (или он может *считаться* удвоившим). Однако с игроком, постоянно совершающим такие оговорки, никто, кроме шулеров, играть не согласился бы. При отсутствии соответствующего намерения его роль могут взять на себя формальные правила; но когда это происходит, то *по существу* такой случай является отклонением или нестандартным случаем. В стандартном же случае в акте присутствует то же полностью открытое и предназначенное быть опознанным намерение, что и в случае акта, не являющегося по существу конвенциональным.

Различие — более сложный вопрос. В этих случаях мы имеем акт, конвенциональный в двух взаимосвязанных аспектах. Во-первых, если все происходит в соответствии с правилами данной процедуры, то акт, способствующий ходу конкретной процедуры преднамеренным способом, является актом, требуемым или разрешенным этими правилами, актом, подпадающим под эти правила. Во-вторых, данный акт идентифицируется как таковой потому, что он осуществляется посредством произнесения последовательности слов, конвенциональной при осуществлении этого акта. Следовательно, своим высказыванием говорящий не только *намерен* способствовать ходу или воздействовать на ход конкретной процедуры определенным конвенциональным способом; в отсутствие какого-либо нарушения конвенциональных условий, способствующих процедуре, его высказывание и не может не произвести нужного воздействия.

Именно в этом заключается противоположность двух разбираемых типов актов. В случае иллюкутивного акта, не являющегося по существу конвенциональным, акт коммуникации выполнен, если обеспечено *усвоение*, если распознано то сложное открытое намерение, с которым произнесено высказывание. Но, несмотря на то, что акт общения выполнен, полностью открытое намерение, которое лежит в основе интенционального комплекса, может *без какого-либо нарушения правил или конвенций* не достичь своей цели. Ожидаемой реакции (убеждения,

действия или состояния) слушающего может просто не возникнуть. По-другому обстоит дело с высказыванием, составляющим часть общей управляемой конвенциями процедуры. Если обеспечено усвоение, то любой срыв полностью открытого намерения, связанного с высказыванием (намерения, способствующего процедуре определенным способом), должен быть отнесен за счет нарушения правила или конвенции. Говорящий, соблюдающий конвенции, может иметь открытое намерение продолжить процедуру, которой в конвенциональном плане соответствует его текущий языковой акт, *только* в том случае, если он считает, что конвенциональные условия для такого продолжения удовлетворены, и, следовательно, полагает, что *его высказывание не только раскроет его намерения, но и приведет к их выполнению*. Ничего подобного не наблюдается при выполнении иллокутивного акта, не являющегося по природе своей конвенциональным. Можно сказать, что в обоих случаях говорящие берут на себя ответственность прояснять свои намерения. В одном случае (в случае конвенционально-конституированной процедуры) говорящий, который использует эксплицитную перформативную форму, также открыто берет на себя ответственность сделать свое явное намерение результативным. Однако в другом случае говорящий, используя только речевой акт, не может в явном виде взять на себя такого типа ответственность. Причиной этого является отсутствие конвенциональных условий, которые могут гарантировать эффективность его открытого намерения. Окажется ли она реализованной или нет, зависит от его слушателей. Поэтому в одном случае эксплицитная перформативная форма может быть именем того самого акта, который произведен тогда, и только тогда, когда открытое намерение говорящего реализовано; в другом случае она именем этого акта быть не может. Но, конечно, — и я еще вновь вернусь к этой мысли — резкая грань, которую я провел между двумя крайними типами, не должна скрывать наличия промежуточных типов.

Акты, относящиеся к конвенционально-конституированным процедурам того типа, о котором я только что говорил, составляют важную часть общения между людьми. Однако они не составляют ни общения в целом, ни, по-видимому, наиболее фундаментальной его части. Было бы ошибкой рассматривать их в качестве модели для понимания общего понятия иллокутивной силы, каковую тенденцию, возможно, проявляет Остин, когда он настаивает на том, что иллокутивный акт является по природе своей конвенциональным, и связывает это положение с возможностью эксплицирования данного акта с помощью перформативной формулы. Такой же ошибкой, как мы видим, было бы обобщение того объяснения иллокутивной силы, которое вытекает из анализа Грайса; это привело бы к ложному утверждению,

что сложное открытое намерение, выраженное в любом иллокутивном акте, всегда включает намерение обеспечить некоторый конкретный ответ или реакцию со стороны слушающего вдобавок к тем, которые обеспечиваются во всех случаях, когда понята иллокутивная сила высказывания. Тем не менее, вероятно, мы можем извлечь из рассмотрения двух контрастных типов нечто общее как для них самих, так и для всех промежуточных типов. Действительно, по своей сути иллокутивная сила высказывания — это то, что, согласно намерению, должно быть понято. И во всех случаях понимание силы высказывания включает распознавание того, что в широком смысле может быть названо намерением, направленным на слушающего, и распознавание ее как полностью открытого, как предназначенного для распознавания. Может быть, это именно тот факт, который лежит в основе общей возможности эксплицитной перформативной формулы; хотя, как мы видели, в случае конвенционально-конституированных процедур в игру вступают дополнительные важные факторы.

Выявив этот общий элемент всех иллокутивных актов, мы можем охотно допустить, что типы намерения, направленного на слушающего, могут быть очень разнообразными и что различные типы могут быть представлены одним и тем же высказыванием.

Я провел резкую грань между теми случаями, когда открытое намерение должно способствовать определенной и регулируемой конвенциями деятельности (например, игре) способом, определяемым конвенциями или правилами этой деятельности, и теми случаями, когда открытое намерение включает обеспечение определенной реакции (когнитивной или практической) со стороны слушающего сверх той, которая обеспечивается всегда, когда обеспечено усвоение. Однако в резкости этого противопоставления есть нечто обманчивое; и, безусловно, было бы ошибкой полагать, что все случаи четко и аккуратно попадают в тот или другой класс. Говорящий, в чью обязанность входит предлагать информацию, инструкцию или советы, может выполнять это с явным безразличием к тому, воспринята ли его информация, выполнены ли его инструкции, воспользовались ли его советом. Его полностью открытое намерение может лишь способствовать предоставлению слушателю — в духе «хочешь — бери, хочешь — не бери» — информации, или инструкций, или требуемого мнения; хотя опять же в некоторых случаях он просто может выражать по крайней мере общие намерения других лиц, которые в конкретном случае едва ли можно было бы приписать ему самому. Мы не должны путаться таких сложностей; вряд ли можно ожидать, что рассмотрение общих понятий языкового общения даст нечто большее, чем схематические контуры, которые почти расплываются при каждом изменении, которого требует верность фактам.

III

Что такое речевой акт?*

Дж. Р. Сёрл

I. Введение

В типичной речевой ситуации, включающей говорящего, слушающего и высказывание говорящего, с высказыванием связаны самые разнообразные виды актов. При высказывании говорящий приводит в движение речевой аппарат, произносит звуки. В то же время он совершает другие акты: информирует слушающих либо вызывает у них раздражение или скуку. Он также осуществляет акты, состоящие в упоминании тех или иных лиц, мест и т. п. Кроме того, он высказывает утверждение или задает вопрос, отдает команду или докладывает, поздравляет или предупреждает, то есть совершает акт из числа тех, которые Остин в [Austin 1962] назвал иллокутивными. Именно этот вид актов рассматривается в данной работе, и ее можно было бы назвать «Что такое иллокутивный акт?». Я не пытаюсь дать определение термина «иллокутивный акт», но, если мне удастся дать правильный анализ отдельного иллокутивного акта, этот анализ может лечь в основу такого определения. Примерами английских глаголов и глагольных словосочетаний, связанных с иллокутивными актами, являются: *state* 'излагать, констатировать, утверждать', *assert* 'утверждать, заявлять', *describe* 'описывать', *warn* 'предупреждать', *remark* 'замечать', *comment* 'комментировать', *command* 'командовать', *order* 'приказывать', *request* 'просить', *criticize* 'критиковать', *apologize* 'извиняться', *censure* 'поричать', *approve* 'одобрять', *welcome* 'приветствовать', *promise* 'обещать', *express approval* 'выражать одобрение' и *express regret* 'выражать сожаление'. Остин утверждал, что в английском языке таких выражений более тысячи.

В порядке введения, вероятно, есть смысл объяснить, почему я думаю, что изучение речевых актов (или, как их иногда называют, языковых, или лингвистических, актов) представляет интерес и имеет важное значение для философии языка. Я думаю, что существенной чертой любого вида языкового общения является то, что оно включает в себя

* Seele John R. What is a speech act? // «Philosophy in America», ed. Max Black. London: Allen and Unwin, 1965. P. 221-239.

языковой акт. Вопреки распространенному мнению основной единицей языкового общения является не символ, не слово, не предложение и даже не конкретный экземпляр символа, слова или предложения, а *производство*¹⁾ этого конкретного экземпляра в ходе совершения речевого акта. Точнее говоря, производство конкретного предложения в определенных условиях есть иллокутивный акт, а иллокутивный акт есть минимальная единица языкового общения.

Я не знаю, как *доказать*, что акты составляют существо языкового общения, но я могу привести аргументы, с помощью которых можно попытаться убедить тех, кто настроен скептически. В качестве первого аргумента следует привлечь внимание скептика к тому факту, что если он воспринимает некоторый звук или значок на бумаге как проявление языкового общения (как сообщение), то один из факторов, обуславливающих такое его восприятие, заключается в том, что он должен рассматривать этот звук или значок как результат деятельности существа, имеющего определенные намерения. Он не может рассматривать его просто как явление природы — вроде камня, водопада или дерева. Чтобы рассматривать его как проявление языкового общения, надо предположить, что его производство есть то, что я называю речевым актом. Так, например, логической предпосылкой предпринимаемых ныне попыток дешифровать иероглифы майя является гипотеза о том, что значки, которые мы видим на камнях, были произведены существами, более или менее похожими на нас, и произведены с определенными намерениями. Если бы мы были уверены, что эти значки появились вследствие эрозии, то никто бы не подумал заниматься их дешифровкой или даже называть их иероглифами. Подведение их под категорию языкового общения с необходимостью влечет понимание их производства как совершения речевых актов.

Совершение иллокутивного акта относится к тем формам поведения, которые регулируются правилами. Я постараюсь показать, что такие действия, как задавание вопросов или высказывание утверждений, регулируются правилами точно так же, как подчиняются правилам, например, базовый удар в бейсболе или ход конем в шахматах. Я хочу, следовательно, эксплицировать понятие иллокутивного акта, задав множество необходимых и достаточных условий для совершения некоторого конкретного вида иллокутивного акта и выявив из него множество семантических правил для употребления того выражения (или синтаксического средства), которое маркирует высказывание как

¹⁾ Английскому *production* соответствуют также русские термины «построение», «создание», «созидание», «синтез», «говорение», а с учетом более современной перспективы — «вербализация замысла». — *Прим. ред.*

иллокутивный акт именно данного вида. Если я смогу сформулировать такие условия и соответствующие им правила хотя бы для одного вида иллокутивных актов, то в нашем распоряжении будет модель для анализа других видов актов и, следовательно, для экспликации данного понятия вообще. Но, чтобы подготовить почву для формулирования таких условий и извлечения из них правил совершения иллокутивного акта, я должен обсудить еще три исходных понятия: *правила*, *суждения* и *значение*. Я ограничу обсуждение этих понятий теми аспектами, которые существенны для целей настоящего исследования, и все же, для того чтобы хоть сколько-нибудь полно изложить все, что мне хотелось бы сказать о каждом из этих понятий, потребовались бы три отдельные работы. Однако иногда стоит пожертвовать глубиной ради широты, и потому я буду очень краток.

II. Правила

В последние годы в философии языка неоднократно обсуждалось понятие правил употребления выражений. Некоторые философы даже говорили, что знание значения слова есть просто знание правил его употребления или использования. Настораживает в таких дискуссиях то, что ни один философ, насколько мне известно, ни разу не предложил ничего похожего на адекватную формулировку правил употребления хотя бы одного выражения. Если значение сводится к правилам употребления, то мы должны уметь формулировать правила употребления выражений так, чтобы эксплицировалось значение этих выражений. Другие философы, возможно, напуганные неспособностью своих коллег предложить какие-либо правила, отвергли модную точку зрения, согласно которой значение сводится к правилам, и заявили, что подобных семантических правил вообще не существует. Я склонен думать, что их скептицизм преждевременен и что его источник кроется в неспособности разграничить разные виды правил. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду.

Я провожу различие между двумя видами правил. Одни правила регулируют формы поведения, которые существовали до них; например, правила этикета регулируют межличностные отношения, но эти отношения существуют независимо от правил этикета. Другие же правила не просто регулируют, но создают или определяют новые формы поведения. Футбольные правила, например, не просто регулируют игру в футбол, но, так сказать, создают саму возможность такой деятельности или определяют ее. Деятельность, называемая игрой в футбол, состоит в осуществлении действий в соответствии с этими правилами; футбола

вне этих правил не существует. Назовем правила второго типа конститутивными, а первого типа регулятивными. Регулятивные правила регулируют деятельность, существовавшую до них, — деятельность, существование которой логически независимо от существования правил. Конститутивные правила создают (а также регулируют) деятельность, существование которой логически зависит от этих правил²⁾.

Регулятивные правила обычно имеют форму императива или имеют императивную перифразу, например, «Пользуясь ножом во время еды, держи его в правой руке» или «На обеде офицеры должны быть в галстуках». Некоторые конститутивные правила принимают совершенно иную форму, например, королю дан мат, если он атакован таким образом, что никакой ход не может вывести его из-под удара; гол при игре в регби засчитывается, когда игрок во время игры пересекает полевую линию противника с мячом в руках. Если образцом правил для нас будут императивные регулятивные правила, то неимперативные конститутивные правила такого рода, вероятно, покажутся в высшей степени странными и даже мало похожими на правила вообще. Забудьте, что по характеру своему они почти тавтологичны, ибо такое «правило», как кажется, уже дает частичное определение «мата» или «гола». Но разумеется, квазитавтологический характер есть неизбежное следствие их как конститутивных правил: правила, касающиеся голов, должны определять понятие «гол» точно так же, как правила, касающиеся футбола, определяют «футбол». То, что, например, в регби гол может засчитываться при таких-то и таких-то условиях и оценивается в шесть очков, в одних случаях может выступать как правило, в других — как аналитическая истина; и эта возможность истолковать правило как тавтологию является признаком, по которому данное правило может быть отнесено к конститутивным. Регулятивные правила обычно имеют форму «Делай X» или «Если Y, то делай X». Некоторые представители класса конститутивных правил имеют такую же форму, но наряду с этим есть и такие, которые имеют форму «X считается Y-ом»³⁾.

Непонимание этого имеет важные последствия для философии. Так, например, некоторые философы задают вопрос: «Как обещание может породить обязательство?» Аналогичным был бы вопрос: «Как гол может породить шесть очков?» Ответить на оба эти вопроса можно только формулированием правила вида «X считается Y-ом».

Я склонен думать, что неумение одних философов формулировать правила употребления выражений и скептическое отношение других философов к самой возможности существования таких правил проис-

²⁾ Это разграничение встречается в [Rawls 1955] и [Searle 1964].

³⁾ Формулировку «X считается (counts as) Y-ом» мне подсказал Макс Блэк.

текает, по крайней мере частично, из неумения проводить различие между конститутивными и регулятивными правилами. Моделью, или образцом, правила для большинства философов является регулятивное правило, но, если мы будем искать в семантике чисто регулятивные правила, мы вряд ли найдем что-либо интересное с точки зрения логического анализа. Несомненно, существуют правила общения (social rules) вида «Не следует говорить непристойности на официальных собраниях», но едва ли таким правилам принадлежит решающая роль в экспликации семантики языка. Гипотеза, на которой основывается данная работа, состоит в том, что семантику языка можно рассматривать как ряд систем конститутивных правил и что иллокутивные акты суть акты, совершаемые в соответствии с этими наборами конститутивных правил. Одна из целей этой работы — сформулировать множество конститутивных правил для одного вида речевых актов. И если то, что я сказал о конститутивных правилах, верно, мы не должны удивляться, что не все эти правила примут форму императива. В самом деле, мы увидим, что эти правила распадаются на несколько разных категорий, ни одна из которых не совпадает полностью с правилами этикета. Попытка сформулировать правила для иллокутивного акта может рассматриваться также как своего рода проверка гипотезы, согласно которой в основе речевых актов лежат конститутивные правила. Если мы не сможем дать удовлетворительных формулировок правил, наша неудача может быть истолкована как свидетельство против гипотезы, частичное ее опровержение.

III. Суждения

Разные иллокутивные акты часто имеют между собой нечто общее. Рассмотрим произнесение следующих предложений:

- (1) *Will John leave the room?* 'Джон выйдет из комнаты?'
- (2) *John will leave the room* 'Джон выйдет из комнаты.'
- (3) *John, leave the room!* 'Джон, выйди из комнаты!'
- (4) *Would that John left the room.* 'Вышел бы Джон из комнаты.'
- (5) *If John will leave the room, I will leave also.* 'Если Джон выйдет из комнаты, я тоже выйду.'

Произнося каждое из этих предложений в определенной ситуации, мы обычно совершаем разные иллокутивные акты. Первое обычно будет вопросом, второе — утверждением о будущем, то есть предсказанием, третье — просьбой или приказом, четвертое — выражением желания, а пятое — гипотетическим выражением намерения. Однако при

совершении каждого акта говорящий обычно совершает некоторые дополнительные акты, которые будут общими для всех пяти иллокутивных актов. При произнесении каждого предложения говорящий *осуществляет референцию*⁴⁾ к конкретному лицу — Джону — и *предсказывает* этому лицу действие выхода из комнаты. Ни в одном случае этим не исчерпывается то, что он делает, но во всех случаях это составляет часть того, что он делает. Я буду говорить, следовательно, что в каждом из этих случаев при различии иллокутивных актов по меньшей мере некоторые из неиллокутивных актов референции и предикации совпадают.

Референция к некоему Джону и предикация одного и того же действия этому лицу в каждом из рассматриваемых иллокутивных актов позволяет мне сказать, что эти акты связывает некоторое общее содержание. То, что может, видимо, быть выражено прилагательным предложением «что Джон выйдет из комнаты», есть общее свойство всех предложений. Не боясь слишком исказить эти предложения, мы можем записать их так, чтобы выделить это их общее свойство: *I assert that John will leave the room* 'Я утверждаю, что Джон выйдет из комнаты', *I ask whether John will leave the room* 'Я спрашиваю, выйдет ли Джон из комнаты' и т. д.

За неимением более подходящего слова я предлагаю называть это общее содержание суждением, или пропозицией (*proposition*), и я буду описывать эту черту данных иллокутивных актов, говоря, что при произнесении предложений (1)–(5) говорящий выражает суждение, что Джон выйдет из комнаты. Заметьте: я не говорю, что суждение выражается соответствующим предложением; я не знаю, как предложения могли бы осуществлять акты этого типа. Но я буду говорить, что при произнесении предложения говорящий выражает суждение. Заметьте также, что я провожу разграничение между суждением и утверждением (*assertion*) или констатацией (*statement*) этого суждения. Суждение, что Джон выйдет из комнаты, выражается при произнесении всех предложений (1)–(5), но только в (2) это суждение утверждается. Утверждение — иллокутивный акт, а суждение вообще не акт, хотя акт выражения суждения есть часть совершения определенных иллокутивных актов.

Резюмируя описанную концепцию, я мог бы сказать, что разграничиваю иллокутивный акт и пропозициональное⁵⁾ содержание иллоку-

⁴⁾ Английский глагол *refer* (to) может иметь и такие переводы, как 'упоминать', 'относиться к', 'обозначать', 'говорить о'. Перевод 'осуществлять референцию к' связан с трактовкой референции как речевого акта (см.: сборник «Новое в зарубежной лингвистике», вып. XIII. М.: Радуга, 1982). О более традиционных аспектах референции см.: Лайонс Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М.: Прогресс, 1978, разд. 9.4. — Прим. ред.

⁵⁾ Это прилагательное означает связь с суждением, пропозицией. — Прим. ред.

тивного акта. Конечно, не все высказывания имеют пропозициональное содержание, например, не имеют его восклицания «Ура!» или «Ой!». В том или ином варианте это разграничение известно давно и так или иначе отмечалось такими разными авторами, как Фреге, Шеффер, Льюис, Рейхенбах, Хзар.

С семантической точки зрения мы можем различать в предложении пропозициональный показатель (indicator) и показатель иллокутивной функции. То есть о большом классе предложений, используемых для совершения иллокутивных актов, можно сказать в целях нашего анализа, что предложение имеет две (не обязательно отдельные) части — элемент, служащий показателем суждения, и средство, служащее показателем функции⁶⁾. Показатель функции позволяет судить, как надо воспринимать данное суждение, или, иными словами, какую иллокутивную силу должно иметь высказывание, то есть какой иллокутивный акт совершает говорящий, произнося данное предложение. К показателям функции в английском языке относятся порядок слов, ударение, интонационный контур, пунктуация, наклонение глагола и, наконец, множество так называемых перформативных глаголов: я могу указать на тип совершаемого мной иллокутивного акта, начав предложение с «Я прошу прощения», «Я предупреждаю», «Я утверждаю» и т. д. Часто в реальных речевых ситуациях иллокутивную функцию высказывания проясняет контекст, и необходимость в соответствующем показателе функции отпадает.

Если это семантическое разграничение действительно существенно, то весьма вероятно, что оно должно иметь какой-то синтаксический аналог, и некоторые из последних достижений в трансформационной грамматике служат подтверждением того, что это так. В структуре составляющих, лежащей в основе предложения, есть различие между теми элементами, которые соответствуют показателю функции, и теми, которые соответствуют пропозициональному содержанию.

Разграничение между показателем функции и показателем суждения очень поможет нам при анализе иллокутивного акта. Поскольку одно и то же суждение может быть общим для всех типов иллокутивных актов, мы можем отделить анализ суждения от анализа видов иллокутивных актов. Я думаю, что существуют правила для выражения суждений, правила для таких вещей, как референция и предикация, но эти правила могут обсуждаться независимо от правил указания

⁶⁾ В предложении *I promise that I will come* «Я обещаю, что я приду» показатель функции отделен от пропозиционального компонента. В предложении *I promise to come* «Я обещаю прийти», имеющем то же значение, что и первое предложение, и получаемом из него с помощью определенных трансформаций, один компонент не отделен от другого.

функции. В этой работе я не буду обсуждать пропозициональные правила, но сосредоточусь на правилах употребления некоторых видов показателей функции.

IV. Значение

Речевые акты обычно производятся при произнесении звуков или написании значков. Какова разница между просто произнесением звуков или написанием значков и совершением речевого акта? Одно из различий состоит в том, что о звуках или значках, делающих возможным совершение речевого акта, обычно говорят, что они *имеют значение* (*meaning*). Второе различие, связанное с первым, состоит в том, что о человеке обычно говорят, что он *что-то имел в виду* (*meant*), употребляя эти звуки или значки. Как правило, мы что-то имеем в виду под тем, что говорим, и то, что мы говорим (то есть производимая нами цепочка морфем), имеет значение. В этом пункте, между прочим, опять нарушается аналогия между совершением речевого акта и игрой. О фигурах в игре, подобной шахматам, не принято говорить, что они имеют значение, и, более того, когда делается ход, не принято говорить, что под этим ходом нечто имеется в виду.

Но что значит «мы что-то имеем в виду под сказанным» и что значит «нечто имеет значение»? Для ответа на первый вопрос я предполагаю позаимствовать и пересмотреть некоторые идеи Пола Грейса. В статье под названием «Значение» (см. [Grice 1957]) Грейс дает следующий анализ одного из осмыслений понятия *meaning*⁷⁾. Сказать, что А что-то имел в виду под *x* (*A meant something by x*) — значит сказать, что «А намеревался, употребив выражение *x*, этим своим употреблением оказать определенное воздействие на слушающих посредством того, что слушающие опознают это намерение». Мне кажется, что это плодотворный подход к анализу субъективного значения, прежде всего потому, что он показывает тесную связь между понятием значения и понятием намерения, а также потому, что он улавливает то, что, как

⁷⁾ То осмысление понятия *meaning*, о котором здесь идет речь, не имеет соответствия среди значений русского слова «значение». Английское слово *meaning* в этом значении является дериватом от глагола *mean* в тех его употреблениях, которые переводятся на русский язык как «иметь в виду, хотеть сказать». Поскольку в русском языке субстантивированные дериваты указанных выражений отсутствуют, то для выражения указанного значения английского *meaning* будем использовать условный термин «субъективное значение». Итак, переводя термин *mean* как «иметь в виду», мы переводим его дериват *meaning* как «субъективное значение», пытаюсь таким искусственным способом сохранить внешнее сходство двух выражений, соответствующих двум разным значениям английского слова *meaning*: «объективное значение» и «субъективное значение». — *Прим. пер.*

мне думается, является существенным для употребления языка. Говоря на каком-либо языке, я пытаюсь сообщить что-то моему слушателю посредством подведения его к опознанию моего намерения сообщить именно то, что я имел в виду. Например, когда я делаю утверждение, я пытаюсь сообщить моему слушателю об истинности определенного суждения и убедить его в ней; а средством достижения этой цели является произнесение мной определенных звуков с намерением произвести на него желаемое воздействие посредством того, что он опознает мое намерение произвести именно такое воздействие. Приведу пример. Я мог бы, с одной стороны, пытаться убедить вас в том, что я француз, все время говоря по-французски, одеваясь на французский манер, выказывая неумеренный энтузиазм в отношении де Голля и стараясь поддерживать знакомство с французами. Но, с другой стороны, я мог бы пытаться убедить вас в том, что я — француз, просто сказав вам, что я — француз. Какова же разница между этими двумя способами воздействия? Коренное различие заключается в том, что во втором случае я пытаюсь убедить вас в том, что я — француз, делая так, чтобы вы узнали, что убедить вас в этом и есть мое подлинное намерение. Это входит в качестве одного из моментов в адресуемое вам сообщение о том, что я — француз. Но, конечно, если я стараюсь убедить вас в том, что я — француз, разыгрывая вышеописанный спектакль, то средством, которое я использую, уже не будет узнавание вами моего намерения. В этом случае вы, я думаю, как раз заподозрили бы неладное, если бы распознали мое намерение.

Несмотря на большие достоинства этого анализа субъективного значения, он представляется мне в некоторых отношениях недостаточно точным. Во-первых, он не разграничивает разные виды воздействий, которые мы можем хотеть оказать на слушающих, — перлокутивные в отличие от иллюкутивных, и, кроме того, он не показывает, как эти разные виды воздействий связаны с понятием субъективного значения. Второй недостаток этого анализа состоит в том, что он не учитывает той роли, которую играют в субъективном значении правила, или конвенции. То есть это описание субъективного значения не показывает связи между тем, что имеет в виду говорящий, и тем, что его высказывание действительно значит с точки зрения языка. В целях иллюстрации данного положения я приведу контрпример для этого анализа субъективного значения. Смысл контрпримера состоит в иллюстрации связи между тем, что имеет в виду говорящий, и тем, что значат слова, которые он произносит.

Допустим, я — американский солдат, которого во время Второй мировой войны взяли в плен итальянские войска. Допустим также, что я хочу сделать так, чтобы они приняли меня за немецкого офицера и освободили. Лучше всего было бы сказать им по-немецки или по-

итальянски, что я — немецкий офицер. Но предположим, что я не настолько хорошо знаю немецкий и итальянский, чтобы сделать это. Поэтому я, так сказать, пытаюсь сделать вид, что говорю им, что я немецкий офицер, на самом деле произнося по-немецки то немногое, что я знаю, в надежде, что они не настолько хорошо знают немецкий, чтобы разгадать мой план. Предположим, что я знаю по-немецки только одну строчку из стихотворения, которое учил наизусть на уроках немецкого в средней школе. Итак, я, пленный американец, обращаюсь к взявшим меня в плен итальянцам со следующей фразой:

*Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?*⁸⁾

Теперь опишем эту ситуацию в терминах Грайса. Я намерен оказать на них определенное воздействие, а именно убедить их, что я немецкий офицер; и я намерен достичь этого результата благодаря опознанию ими моего намерения. Согласно моему замыслу, они должны думать, что я пытаюсь сказать им, что я немецкий офицер. Но следует ли из этого описания, что, когда я говорю *Kennst du das Land...*, я имею в виду 'Я немецкий офицер'? Нет, не следует. Более того, в данном случае кажется явно ложным, что, когда я произношу это немецкое предложение, я имею в виду 'Я немецкий офицер' или даже *Ich bin ein deutscher Offizier*, потому что эти слова означают не что иное, как 'Знаешь ли ты страну, где цветут лимонные деревья'? Конечно, я хочу обманом заставить тех, кто взял меня в плен, думать, что я имею в виду 'Я немецкий офицер', но чтобы этот обман удался, я должен заставить их думать, что именно это означают произносимые мною слова в немецком языке. В одном месте в «Философских исследованиях» Витгенштейн говорит: «Скажите „здесь холодно“, имея в виду „здесь тепло“» (см. [Wittgenstein 1953, § 510]). Причина, по которой этого сделать нельзя, заключается в важной закономерности: то, что мы можем иметь в виду, является функцией того, что мы говорим. Субъективное значение обусловлено не только намерением, но и конвенцией.

Описание Грайса может быть уточнено с учетом контрпримера этого типа. В данном случае я стараюсь достичь определенного результата благодаря распознаванию моего намерения достичь этого результата, но я использую для достижения этого результата средство, которое, согласно конвенции, то есть правилам пользования этим средством,

⁸⁾ Песнь Мильон из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1784), ставшая хрестоматийным примером немецкой лирики. В русском переводе В. А. Жуковского:

Я знаю край! там негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес...

— Прим. перев.

используется для достижения совсем иных иллокутивных результатов. Следовательно, мы должны переформулировать грайсово описание субъективного значения таким образом, чтобы стало ясно, что связь между тем, что мы имеем в виду, когда говорим, и тем, что означает предложение в языке, на котором мы говорим, отнюдь не случайна. В нашем анализе иллокутивных актов мы должны уловить как интенциональный, так и конвенциональный аспект, и в особенности соотношение между ними. Совершая иллокутивный акт, говорящий намерен получить определенный результат, заставив слушающего опознать свое намерение получить этот результат, и далее, если он употребляет слова в буквальном смысле, он хочет, чтобы это опознание было осуществлено благодаря тому факту, что правила употребления произносимых им выражений связывают эти выражения с получением данного результата. Именно такое сочетание элементов нам и нужно будет отразить в нашем анализе иллокутивного акта.

V. Как обещать

Попытаемся теперь проанализировать иллокутивный акт обещания. Для этого зададимся вопросом: какие условия необходимы и достаточны для того, чтобы произнесение данного предложения было совершением акта обещания? Я попытаюсь ответить на поставленный вопрос, представив эти условия в виде множества суждений, таких, что конъюнкция членов этого множества влечет суждение, что говорящий дал обещание, а суждение, что говорящий дал обещание, влечет эту конъюнкцию. Таким образом, каждое условие будет необходимым условием для совершения акта обещания, а все множество условий в совокупности будет достаточным условием для совершения этого акта.

Если мы получим такое множество условий, мы сможем извлечь из него множество правил употребления показателя данной функции. Наш метод аналогичен выяснению правил игры в шахматы путем поиска ответа на вопрос о том, каковы необходимые и достаточные условия, при которых ход конем, или рокировка, или мат и т. п. считаются сделанными правильно. Мы находимся в положении человека, который научился играть в шахматы, не будучи знаком с формулировкой правил, и который хочет получить такую формулировку. Мы научились играть в игру иллокутивных актов, но, как правило, мы обходились без эксплицитной формулировки правил, и первым шагом на пути к такой формулировке является изложение условий совершения некоторого конкретного иллокутивного акта. Наше исследование поэтому послужит двойной философской цели. Сформулировав множество условий для совершения конкретного иллокутивного акта, мы дадим частичную

экспликацию этого понятия и одновременно подготовим почву для второго шага — формулирования соответствующих правил.

Формулирование условий представляется мне очень трудным делом, и я не вполне удовлетворен тем списком, который собираюсь представить. Одним из источников затруднений является то, что понятие обещания, как и большинство понятий обыденного языка, не связано с абсолютно строгими правилами. Существует масса странных, необычных и пограничных случаев обещания, и против моего анализа могут быть выдвинуты в большей или меньшей степени причудливые контрпримеры. Я склонен думать, что мы не сможем получить множество необходимых и достаточных условий, которое на сто процентов верно отражало бы обыденное употребление слова *promise* 'обещать'. Поэтому я ограничусь в своем обсуждении центральной частью понятия обещания, игнорируя пограничные, периферийные и недостаточно типичные случаи. К тому же я буду обсуждать только полные эксплицитные обещания, оставляя в стороне обещания, даваемые в форме эллиптических оборотов, намеков, метафор и т. п.

Другая трудность вытекает из моего желания избежать порочного круга при формулировании условий. Список условий, при которых совершается определенный иллокутивный акт, должен быть составлен таким образом, чтобы в них самих не содержалось ссылок на совершение каких бы то ни было иллокутивных актов. Только тогда я смогу предложить экспликацию понятия иллокутивного акта вообще, иначе я бы просто показывал связи между разными иллокутивными актами. Однако, хотя на иллокутивные акты ссылок не будет, некоторые иллокутивные понятия встретятся как в анализирующих, так и в анализируемых выражениях; и, думаю, такая форма кругообразности неизбежна, что следует из природы конститутивных правил.

Излагая условия, я сначала рассмотрю случаи искреннего обещания, а затем покажу, как изменить условия с тем, чтобы охватить и неискренние обещания. Так как наше исследование носит скорее семантический, чем синтаксический характер, существование грамматически правильно оформленных предложений будет принято нами как исходное допущение.

Пусть говорящий *S* произносит предложение *T* в присутствии слушающего *H*. Тогда *S* при произнесении⁹⁾ *T* искренне (и корректно) обещает *H*, что *p*, если, и только если:

- (1) *Соблюдены условия нормального входа и выхода.*

⁹⁾ Английское *in the utterance of T* могло бы переводиться также 'в ходе произнесения *T*', 'произнося *T*'. — *Прим. ред.*

С помощью терминов «вход» и «выход» я обозначаю большой и не имеющий четких границ класс условий, которые обеспечивают возможность любого серьезного языкового общения. «Выход» покрывает условия для вразумительного говорения, а «вход» — условия для понимания. В совокупности они включают в себя то, что говорящий и слушающий оба владеют данным языком; то, что оба действуют сознательно; то, что говорящий действует не по принуждению и не под угрозой; то, что у них нет физических препятствий для общения, таких, как глухота, афазия или ларингит; то, что они не исполняют роль в спектакле и не говорят в шутку и т. п.

(2) *С при произнесении Т выражает мысль, что р.*

Это условие отделяет пропозициональное содержание от прочих составляющих речевого акта и позволяет нам сосредоточиться в дальнейшем на особенностях обещания.

(3) *Выражая мысль, что р, S предсказывает будущий акт говорящему S.*

В случае обещания показатель данной функции — это выражение, требующее наличия у суждения определенных свойств. При обещании должен предсказываться некоторый акт говорящему; и этот акт не может относиться к прошлому. Я не могу обещать, что я уже нечто сделал, равно как и не могу обещать, что кто-то другой нечто сделает. (Хотя я могу обещать, что позабочусь о том, чтобы он сделал это.) Понятие акта, которое я здесь использую, включает воздержание от актов, совершение ряда актов; оно также может включать в себя состояния и обстоятельства (conditions): я могу обещать не делать что-то, обещать регулярно делать что-то, а также обещать быть или оставаться в определенном состоянии или в определенных обстоятельствах. Назовем условия (2) и (3) условиями пропозиционального содержания.

(4) *Н предпочел бы совершение говорящим S акта А несовершенному говорящим S акта А, и S убежден, что Н предпочел бы совершение им А несовершенному им А.*

Коренное различие между обещаниями, с одной стороны, и угрозами — с другой, состоит в том, что обещание есть обязательство что-то сделать для вас (for you), а не в ущерб вам (to you), тогда как угроза есть обязательство что-то сделать в ущерб вам, а не для вас. Обещание некорректно (defective), если обещают сделать то, чего не хочет адресат обещания; оно тем более некорректно, если обещающий не убежден, что адресат обещания хочет, чтобы это было сделано, поскольку корректное обещание должно быть задумано как обещание, а не как угроза или предупреждение. Думаю, что обе половины этого двойного условия необходимы, если мы хотим избежать довольно очевидных контрпримеров.

Однако может показаться, что есть примеры, которые не подчиняются этому условию в такой его формулировке. Допустим, я говорю нерадивому студенту: *If you don't hand in you paper on time I promise you I will give you a failing grade in the course* 'Если вы не сдадите вашу работу в срок, я обещаю поставить вам неудовлетворительную оценку за этот курс'. Является ли это высказывание обещанием? Я склонен считать, что нет. Но почему же тогда в подобном случае можно употребить выражение *I promise* 'я обещаю'? Думаю, что мы употребляем его здесь потому, что *I promise* 'я обещаю' и *I hereby promise* 'сим я обещаю' принадлежат к числу самых сильных показателей функций для принятия обязательств, которыми располагает английский язык. По этой причине мы часто употребляем эти выражения при совершении речевых актов, которые, строго говоря, не являются обещаниями, но в которых мы желаем подчеркнуть принятие на себя обязательства. Чтобы проиллюстрировать это положение, рассмотрим другой пример, который тоже может показаться противоречащим нашему анализу, хотя и иным образом. Иногда, причем, я думаю, чаще в США, чем в Англии, можно услышать, как, делая эмфатическое утверждение, говорят *I promise*. Допустим, я обвиняю вас в том, что вы украли деньги. Я говорю *You stole that money, didn't you?* 'Вы украли эти деньги, не так ли?' Вы отвечаете: *No, I didn't. I promise you I didn't* 'Нет, я не крад. Клянусь (букв.: обещаю), что не крад'. Дали ли вы в этом случае обещание? Я считаю, что было бы крайне неестественно описывать ваше высказывание как обещание. Это высказывание скорее можно охарактеризовать как эмфатическое отрицание, а данное употребление показателя функций *I promise* 'Я обещаю' можно трактовать как производное от настоящих обещаний и как выражение, служащее здесь для усиления отрицания.

В целом суть условия (4) состоит в том, что для обеспечения корректности обещания обещаемое должно быть чем-то, чего слушающий хочет, в чем он заинтересован или что он считает предпочтительным и т. п.; а говорящий должен сознавать, полагать или знать и т. п., что это так. Для более изящной и точной формулировки этого условия, я думаю, придется вводить специальную терминологию.

- (5) *Как для S, так и для H не очевидно, что S совершит A при нормальном ходе событий.*

Это условие — частный случай общего условия для самых разных видов иллюкутивных актов, состоящего в том, что данный иллюкутивный акт должен иметь мотив. Например, если я прошу кого-нибудь сделать то, что он уже явно делает или вот-вот сделает, то моя просьба не мотивирована и в силу этого некорректна. В реальной речевой ситуации слушающие, знающие правила совершения иллюкутивных актов, будут

предполагать, что это условие соблюдается. Допустим для примера, что во время публичного выступления я говорю одному из слушателей: *Look here, Smith, pay attention to what I am saying* 'Смит, слушайте меня внимательно'. Чтобы понять это высказывание, присутствующие должны будут предположить, что Смит слушал невнимательно или по крайней мере его внимание не проявлялось достаточно явно; так или иначе — его внимательность поставлена под сомнение. Это происходит потому, что условием обращения с просьбой является неочевидность того, что адресат в момент речи делает или вот-вот сделает то, о чем его просят.

То же с обещаниями. С моей стороны будет неправильно обещать сделать то, что я со всей очевидностью должен сделать в любом случае. Если же все-таки создается впечатление, что я даю такое обещание, то мое высказывание слушатели могут счесть осмысленным только тогда, когда будут исходить из предположения, что я сам твердо не уверен в своем намерении совершить акт, о котором идет речь в обещании. Так, женившийся по любви мужчина, обещающий жене, что не покинет ее на следующей неделе, скорее поселит в ее душе тревогу, чем покой.

Кстати, я думаю, что это условие является частным случаем тех явлений, которые охватываются законом Ципфа. Я думаю, что в нашем языке, как в большинстве других форм человеческого поведения, действует принцип наименьшего усилия, в данном случае принцип максимума иллокутивных результатов при минимуме фонетических усилий: я думаю, что условие (5) — одно из его проявлений.

Назовем условия типа (4) и (5) *подготовительными условиями*. Они *sine quibus non* успешного обещания, но не они воплощают самый существенный его признак.

(6) *S намерен совершить A.*

Самое важное различие между искренними и неискренними обещаниями состоит в том, что в случае искреннего обещания говорящий намерен осуществить обещанный акт, а в случае неискреннего обещания — не намерен осуществлять этот акт. Кроме того, при искреннем обещании говорящий убежден, что он имеет возможность совершить данный акт (или воздержаться от его совершения), но, я думаю, из того, что он намерен его совершить, следует, что он уверен в наличии соответствующей возможности, и поэтому я не формулирую это как отдельное условие. Данное условие назовем *условием искренности*.

(7) *S намерен с помощью высказывания T связать себя обязательством совершить A.*

Существенный признак обещания состоит в том, что оно является принятием обязательства совершить определенный акт. Я думаю,

это условие отличает обещания (и близкие к ним явления, например клятвы) от других видов речевых актов. Заметьте, что в формулировке условия мы только определяем намерение говорящего; дальнейшие условия прояснят, как это намерение реализуется. Ясно, однако, что наличие такого намерения является необходимым условием для обещания, так как если говорящий может показать, что у него не было этого намерения в данном высказывании, то он может доказать, что это высказывание не было обещанием. Мы знаем, например, что мистер Пиквик не обещал женщине жениться на ней, потому что мы знаем, что он не имел соответствующего намерения¹⁰.

Назовем это *существенным условием*.

- (8) *Я намерен вызвать у Н посредством произнесения Т убеждение в том, что условия (6) и (7) имеют место благодаря опознанию им намерения создать это убеждение, и он рассчитывает, что это опознание будет следствием знания того, что данное предложение принято употреблять для создания таких убеждений.*

Здесь учтена наша поправка к сделанному Грайсом анализу субъективного значения применительно к акту обещания. Говорящий намерен вызвать определенный иллюкативный эффект посредством подведения слушающего к опознанию его намерения вызвать этот эффект, и при этом он намерен обеспечить такое опознание благодаря существованию конвенциональной связи между лексическими и синтаксическими свойствами произносимой им единицы, с одной стороны, и производством этого эффекта — с другой.

Строго говоря, это условие можно было бы включить в качестве составной части в формулировку условия (1), но оно представляет самостоятельный интерес для философа. Оно беспокоит меня по следующей причине. Если мое возражение Грайсу действительно справедливо, то, конечно, можно сказать, что все эти нагромождения намерений излишни: необходимо только одно — чтобы говорящий, произнося предложение, делал это всерьез. Производство всех этих эффектов есть простое следствие того, что слушающий знает, что означает данное предложение. Последнее в свою очередь является следствием знания им языка, каковое предполагается говорящим с самого начала. Думаю, что на это возражение следует отвечать так: условие (8) объясняет, что это значит, что говорящий произносит предложение «всерьез», то есть произносит нечто и имеет это в виду, но я не вполне уверен в весомости этого ответа, как, впрочем, и в весомости самого возражения.

¹⁰ Имеется в виду ситуация, описанная в главе XII «Посмертных записок Пиквикского клуба» Ч. Диккенса. — *Прим. перев.*

- (9) Семантические правила того диалекта, на котором говорят *S* и *H*, таковы, что *T* является употребленным правильно и искренне, если, и только если, условия (1)–(8) соблюдены.

Это условие имеет целью пояснить, что произнесенное предложение является одним из тех, которые по семантическим правилам данного языка используются как раз для того, чтобы давать обещания. Вкупе с условием (8) оно элиминирует контрпримеры типа примера с пленным, рассмотренного выше. Какова точная формулировка этих правил, мы скоро увидим.

До сих пор мы рассматривали только случай искреннего обещания. Но неискренние обещания — это тем не менее обещания, и мы теперь должны показать, как модифицировать наши условия с тем, чтобы охватить и этот случай. Давая неискреннее обещание, говорящий не имеет всех тех намерений и убеждений, которые имеются у него в случае искреннего обещания. Однако он ведет себя так, будто они у него есть. Именно из-за того, что он демонстрирует намерения и убеждения, которых не имеет, мы и описываем его поступок как неискренний. Поэтому, чтобы охватить неискренние обещания, мы должны только заменить содержащееся в наших условиях утверждение о том, что говорящий имеет те или иные убеждения или намерения, на утверждение о том, что он принимает на себя ответственность за то, что они у него есть. Показателем того, что говорящий в самом деле принимает на себя такую ответственность, является абсурдность таких высказываний, как, например, *I promise to do A, but I do not intend to do A* 'Я обещаю сделать *A*, но я не намерен делать *A*'. Сказать *I promise to do A* 'Я обещаю сделать *A*' — значит принять на себя ответственность за намерение сделать *A*, и это условие справедливо независимо от того, искренним или неискренним было высказывание. Чтобы учесть возможность неискреннего обещания, мы должны, следовательно, так изменить условие (6), чтобы оно констатировало не намерение говорящего сделать *A*, а принятие им ответственности за намерение сделать *A*. Дабы избежать порочного круга, я сформулирую это так:

- (6*) *S* намерен посредством произнесения *T* возложить на себя ответственность за намерение совершить *A*.

С такой поправкой и с устранением слова «искренне» из формулировки объекта анализа и из условия (9) наш анализ становится нейтральным по отношению к искренности или неискренности обещания.

Наша следующая задача — извлечь из множества условий множество правил употребления показателя данной функции. Ясно, что не все наши условия в равной степени релевантны с точки зрения

этой задачи. Условие (1) и условия вида (8) и (9) одинаково применимы ко всем нормальным иллюкутивным актам и не специфичны для обещания. Правила для показателя функции обещания будут соответствовать условиям (2)–(7).

Семантические правила употребления показателя функции *P* для обещания таковы:

Правило 1. *P* должен произноситься только в контексте предложения или большего речевого отрезка, произнесение которого предсказывает некоторое будущее действие *A* говорящему *S*. Назовем это *правилом пропозиционального содержания*. Оно выводится из условий пропозиционального содержания (2) и (3).

Правило 2. *P* должен произноситься, только если слушающий *H* предпочел бы совершение субъектом *S* акта *A* несовершенному им *A* и *S* убежден, что *H* предпочел бы совершение субъектом *S* акта *A* несовершенному им *A*.

Правило 3. *P* следует произносить, только если ни для *S*, ни для *H* не очевидно, что *S* совершит *A* при нормальном ходе событий.

Назовем правила (2) и (3) *подготовительными правилами*. Они выводятся из подготовительных условий (4) и (5).

Правило 4. *P* следует произносить, только если *S* намерен совершить *A*.

Назовем это *правилом искренности*. Оно выводится из условия искренности (6).

Правило 5. Произнесение *P* считается принятием обязательства совершить *A*.

Назовем это *существенным правилом*.

Правила упорядочены: правила 2–5 применяются, только если соблюдено правило 1, а правило 5 применяется, только если соблюдены также правила 2 и 3.

Заметьте, что в то время, как правила 1–4 имеют форму квазинимперативов — «произноси *P*, только если *X*», правило 5 имеет другую форму — «произнесение *P* считается *Y*-ом». Тем самым правило 5 относится к виду, специфичному для систем конститутивных правил, которые рассматривались в разделе II.

Отметим также, что пресловутая аналогия с играми здесь отлично выдерживается. Если мы спросим себя, при каких условиях ход конем можно назвать правильным, мы обнаружим подготовительные условия типа того, что ход должен быть сделан в свою очередь, а наряду

с этим и существенное условие, определяющее те конкретные позиции, куда конь может быть передвинут. Думаю, что в соревновательных играх существует даже правило искренности, требующее, чтобы каждая из сторон стремилась играть на выигрыш. Я предполагаю, что поведение намеренно проигрывающей команды представляет близкую аналогию поведению говорящего, который лжет или дает лживые обещания. Разумеется, у игр обычно не бывает правил пропозиционального содержания, так как игры по большей части не отображают положений дел.

Если этот анализ представляет интерес не только для случая обещания, то следует ожидать, что проведенные разграничения могут быть перенесены на другие типы речевых актов. В этом, я думаю, можно убедиться без особого труда. Рассмотрим, например, акт приказания. К подготовительным условиям относится такое положение говорящего, при котором слушающий находится в его власти, условие искренности состоит в том, что говорящий желает, чтобы требуемое действие было совершено, а существенное условие должно отражать тот факт, что произнесение высказывания является попыткой побудить слушающего совершить это действие. В случае утверждений к подготовительным условиям относится наличие у говорящего некоторого основания для того, чтобы считать утверждаемое суждение истинным, условие искренности состоит в том, что он должен быть убежден в его истинности, а существенное условие отражает тот факт, что произнесение высказывания является попыткой проинформировать слушающего и убедить его в истинности суждения. Приветствия гораздо более простой вид речевого акта, но даже здесь часть разграничений применима. В высказывании *Hello!* 'Привет!' нет пропозиционального содержания, и оно не связано условием искренности. Подготовительное условие состоит в том, что непосредственно перед началом говорения должна произойти встреча говорящего со слушающим, а существенное условие состоит в том, что произнесение данного высказывания свидетельствует об учетивом признании слушающего говорящим.

В ходе дальнейших исследований предстоит проанализировать сходным образом другие типы речевых актов. Это дало бы нам не только анализ понятий, представляющих самостоятельный интерес. Сравнение результатов разных анализов углубило бы наше понимание предмета в целом и, между прочим, послужило бы основой для разработки более серьезной таксономии, чем любая из тех, что опираются на весьма поспешные обобщения в терминах таких категорий, как «оценочный/описательный», или «когнитивный/эмотивный».

IV

Значение говорящего, значение предложения и значение слова*

Г. П. Грайс

А. Постановка задачи

Цель настоящей работы — прояснить связь между (а) понятием значения, рассматриваемым здесь как исходное, а именно понятием, которое имеется в виду, когда о ком-то говорят, что этот кто-то, делая (когда делал) то-то и то-то, хотел сообщить (намеревался, хотел сказать) то-то и то-то (такое значение я называю *нестественным смыслом* глагола *значить* (*mean*)¹⁾, и (б) другими понятиями значения, которые имеются в виду, когда говорят, что (i) данное предложение *значит* то-то и то-то, или что (ii) данное слово или словосочетание *означает* то-то и то-то. Дальнейшее изложение следует рассматривать не как стремление изложить фрагмент уже готовой и логически обоснованной теории, а скорее как попытку представить набросок того, что, как я надеюсь, впоследствии могло бы стать целостной и жизнеспособной теорией. Объяснение, которое я хочу предложить для исходного (для меня) понятия значения, я здесь защищать не буду; мне вполне достаточно будет предполагать, что оно в самом общем виде корректно, и все свое внимание я далее сосредоточу на использовании этого понятия (при условии, что оно корректное) для объяснения других, как я полагаю, производных, понятий значения. Предпринятое исследование является составной частью более развернутой программы, о которой пойдет речь ниже, хотя более отдаленные этапы этой программы лежат за пределами тех рамок, которые установлены мной в настоящей работе.

В основании этой программы лежит различие, о котором мне бы хотелось сделать лишь одно замечание весьма общего характера, в целом,

* Grice H.P. Utterer's meaning, sentence-meaning, and word-meaning. Впервые статья была напечатана в журнале «Foundations of Language», 4, 1968. P. 1-18.

¹⁾ Английский глагол *mean*, которым пользуется автор, имеет несколько значений, среди которых 'намереваться, собираться', 'значить, означать', 'подразумевать, иметь в виду'. Мы сознательно прибегли при переводе к русскому выражению *хотел сообщить* (сказать), которое, как кажется, тоже совмещает в себе здесь эти три значения. — Прим. перев.

суть которых я тут не вижу необходимости пояснять. Речь идет о различии между тем, что говорящий *сказал* (в некотором особом, может быть, даже в какой-то мере искусственном, смысле этого слова), и тем, что он *«хотел сказать»* или *«подразумевал»* (в частности, *имел в виду, предполагал, давал понять, намекал* и т. п.). При этом нужно учитывать, что подразумеваемое говорящий может выражать как *конвенциональным способом* (посредством значения некоторого используемого слова или словосочетания), так и *не конвенциональным* (в этом случае выявление того, что подразумевает говорящий, не связано с определением конвенциональных значений употребляемых им слов). Выдвигаемая мной программа ориентирована на объяснение этого особого смысла 'сказать' и на проследование его отношений с понятием конвенционального значения.

Этапы этой программы таковы:

(I) Провести различие между высказываниями, имеющими форму «Г (говорящий) хотел „здесь“ сказать, что...» (это языковая форма, которая задает то, что можно было бы назвать *окказиональным значением*), и высказываниями, имеющими форму «Х (тип высказывания) означает „...“». В высказываниях первого типа значение определяется без использования знака кавычек, а в высказываниях второго типа значение предложения, слова или словосочетания определяется с помощью кавычек, и это различие между высказываниями семантически очень важное.

(II) Попытаться найти определяющее выражение, или толкование, для утверждений с окказиональным значением; говоря точнее, найти определяющее выражение для высказываний вида «Произнося *x* (когда Г произносит *x*), Г хотел сказать, что **p*».

Здесь необходимо дать некоторые пояснения:

(а) термин «произносить», как и термин «высказывание», я использую здесь в сознательно расширительном смысле с тем, чтобы охватить им все случаи воспроизведения или создания высказывания *x*, посредством которого говорящий (Г) хочет нечто сообщить. Реализация намерения говорящего совсем не обязательно должна быть языковой или даже вообще конвенциональной. В одних случаях уточняющее замещение переменной «*x*» будет характеристикой действия или деятельности, в других — характеристикой результата или продукта (ср. звук);

(б) символ «***» обозначает *переменный* показатель наклонения и отличается от показателей конкретных наклонений, таких как «*↑*» (индикатив, или утвердительное наклонение) или «*!*» (повелительное наклонение). Точнее, можно считать, что схема «Джон хотел сказать, что **p*»

порождает законченное предложение по завершению следующих двух трансформационных шагов (преобразований):

(i) заменить символ «*» на показатель конкретного наклонения и заменить «р» на индикативное предложение. Поступая таким образом, мы можем на выходе получить либо *Jones meant that p: Smith will go home* 'Джон хотел сообщить, что p Смит поедет домой', либо *Jones meant that! Smith will go home* 'Джон хотел сообщить, что! Смит поедет домой';

(ii) заменить последовательность знаков после слова *что* на подходящее предложение в форме косвенной речи (согласно правилам, заданным лингвистической теорией). Осуществив это преобразование, мы можем получить высказывания *Jones meant that Smith will go home* 'Джон хотел сказать, что Смит поедет домой' или *Jones meant that Smith is to go home* 'Джон хотел сказать, что Смит должен поехать домой!';

(III) Попытаться прояснить понятие конвенционального значения высказываний данного типа, точнее, дать объяснение тем предложениям, которые должны иметь форму «X (тип высказывания) означает „*“», или, если X — несентенциальный тип высказывания, форму «X означает „...“», где многоточие заполняется несентенциальным выражением.

Здесь снова требуется некоторый комментарий:

(а) удобно считать, что утверждения, которые я далее буду называть *утверждениями с панхроническим (вневременным) значением*, то есть утверждения вида «X означает „...“», где конкретизация значения заключена в кавычки, делится на два класса: (i) *утверждения с идиолектным панхроническим значением*, например, «Для Г (в его идиолекте) X означает „...“» и (ii) *утверждения с панхроническим языковым значением*, например, «В Я (языке) X означает „...“». Каждое из этих утверждений удобно рассмотреть отдельно и именно в указанном порядке;

(б) истинность утверждения «X означает „...“» нельзя, разумеется, отождествлять с истинностью другого утверждения «X означает „—“», поскольку лакуны в них заполняются по-разному. Тип высказывания может иметь более чем одно конвенциональное значение, и мы, предлагая ту или иную интерпретацию, должны это каждый раз учитывать. Выражение «X означает „...“» следует понимать как «Одно из значений X — это „...“».

(IV) Поскольку панхронический тип высказывания допускает множественность интерпретаций, необходимо предусмотреть объяснение того, что я называю *актуальным панхроническим значением типа высказывания*. Иными словами, требуется найти определяющее выражение

для схемы «X (тип высказывания) означал здесь „...“, то есть схемы, конкретизация которой обеспечивает правильную интерпретацию X для данного конкретного высказывания.

Комментарий.

(а) Проводя различие между актуальным панхроническим значением высказывания типа X применительно к данному конкретному высказыванию x этого типа и окказиональным значением произнесенного говорящим высказывания x, нужно быть очень осторожным. Например, следующие две формы не эквивалентны:

(i) «Когда Г произнес предложение *Palmer gave Nicklaus quite a beating* 'Палмер легко побил Никлоса', оно означало *Palmer vanquished Nicklaus with some ease* 'Палмер без особых усилий победил Никлоса' [а не, например, *Palmer administered vigorous corporal punishment to Nicklaus* 'Палмер с небольшой силой применил к Никлосу телесное наказание']».

(ii) «Когда Г произнес предложение *Palmer gave Nicklaus quite a beating* 'Палмер легко побил Никлоса', он хотел сказать, что *Palmer vanquished Nicklaus with some ease* 'Палмер без особых усилий победил Никлоса'».

Г мог бы произнести свое высказывание с иронией, и в таком случае он, видимо, хотел бы этим сказать, что это Никлос легко наказал Палмера. Но тогда высказывание (i) было бы, очевидно, ложным, а высказывание (ii) по-прежнему оставалось бы истинным.

(б) Соблазнительно было бы считать, что конъюнкция двух выражений

(i) «Произнося X, Г имел в виду сообщить, что *p»

и

(ii) «X, когда его произнес Г, означало „*p“»

дает нам нужное толкование для формы «В тот момент, когда Г произносил X, он сказал, что „*p“». Действительно, если рассматривать только те типы высказываний, для которых существуют адекватные утверждения панхронического значения с канонической формой «X означало „*p“» (или — для утверждений с актуальным панхроническим значением — форму «X означало здесь „*p“»), то можно заключить, что конъюнкция (i) и (ii) подкрепляет тезис, в соответствии с которым такое совпадение окказионального и актуального панхронического значений является необходимым и достаточным условием для того, чтобы сказать, что *p. Приходится, однако, считаться с тем, что есть утверждения с панхроническим значением, которые имеют форму, отличную от указанной; существуют типы предложений панхронического значения,

для которых конкретизация при помощи высказываний канонической формы по меньшей мере недостаточна.

Рассмотрим предложение *Bill is a philosopher and he is, therefore, brave* 'Билл — философ, и следовательно, человек смелый' (S_1). Я полагаю, что здесь было бы нормальным частично конкретизировать панхроническое значение предложения S_1 , сказав «Часть одного из значений предложения S_1 — это *Bill is occupationally engaged in philosophical studies* 'Билл по своей профессии занимается философией'». В действительности же, можно было бы осуществить и полную конкретизацию этого панхронического значения предложения S_1 , сказав «Одно из значений S_1 включает в себя *Bill is occupationally engaged in philosophical studies* 'Билл по своей профессии занимается философией', *Bill is courageous* 'Билл смелый' и *That Bill is courageous follows from his being occupationally engaged in philosophy* 'То, что Билл смелый, следует из того, что он по своей профессии занимается философией', и это все, что оно в себя включает». [Сказанное можно перефразировать таким образом: «В одно из значений S_1 входит „Билл по своей профессии занимается философией“, „Билл смелый“ и „То, что Билл смелый, следует из того, что он по своей профессии занимается философией“»]. Данная конкретизация панхронического значения предложения S_1 явно предпочтительнее, чем, например, такая: «Одно из значений S_1 — это 'Билл по своей профессии занимается философией', „Билл-смелый“ и „То, что Билл смелый, следует из того, что он по своей профессии занимается философией“», — дело в том, что последняя формулировка по меньшей мере заставляет нас думать, что S_1 синонимично конъюнкции представленных в ней предложений, а это очевидно не так.

Вместе с тем верно, что *другое* значение высказывания S_1 включает в себя «Билл любит предаваться самым общим размышлениям о жизни» (вместо «Билл по своей профессии занимается философией»), а потому про S_1 можно было сказать (высказать истину): «В значение S_1 здесь входят пропозиции „Билл по своей профессии занимается философией“, „Билл смелый“ и „То, что Билл смелый, следует из того, что он по своей профессии занимается философией“», или сказать так: «Значение S_1 здесь включает в себя „Билл по своей профессии и т. д.“». Могло быть, истинно и то, что когда Γ произносил S_1 , он хотел сказать (часть из того, что он хотел сказать), что то, что Билл смелый, следует из (и т. д.).

А теперь главное. Я отнюдь не считаю, что человек, который произнес S_1 , сказал (в выделяемом мной особом смысле «сказать»), что «то, что Билл смелый, следует из того, что он по своей профессии занимается философией», хотя этот человек вполне мог сказать, что Билл философ и что Билл смелый. Я утверждаю только, что семантическая роль сло-

ва следовательно состоит в том, чтобы дать говорящему возможность указать (но не сказать) то, что здесь имеет место некоторое логическое следствие. Я бы, *mutatis mutandis*, занял аналогичную позицию и в отношении таких слов, как *но* или *более того*. Основная причина, по которой я предпочитаю считать главным именно этот особый смысл слова «сказать», состоит в том, что, как я полагаю, с теоретической точки зрения он окажется более полезным, чем остальные смыслы этого слова. Поэтому я буду считать, что актуальное панхроническое и окказиональное значения могут совпадать, то есть говорить, что истинным одновременно может быть (i) когда Γ произносил X , значение X включало в себя $\ast r$, и (ii) та часть того, что Γ хотел сообщить, когда он произносил X , было $\ast r$, но при этом может быть ложным утверждение, что Γ сказал, среди прочего, что $\ast r$. Мне хотелось бы использовать выражение «конвенционально хотел сообщить, или подразумевал (*meant*), что» таким образом, чтобы выполнение этих двух условий, хотя и не достаточное для истинности высказывания « Γ сказал, что $\ast r$ », было бы достаточным (а также необходимым) условием для истинности высказывания « Γ конвенционально хотел сказать, что $\ast r$ ».

(V) Различение того, что говорящим реально сказано, и того, что говорящий конвенционально хочет сказать, ставит перед исследователем задачу найти условия, при которых то, что Γ своим высказыванием конвенционально хотел сказать, составляет часть того, что он реально сказал. Я надеюсь решить эту задачу, идя по следующему пути:

- (1) сформулировать условия, которые выполняются только для ограниченного круга речевых актов, каждый из которых поэтому может считаться в некотором отношении основным;
- (2) особо оговорить следующее положение: я буду считать, что, произнося высказывание « X , Γ сказал, что $\ast r$ », если одновременно выполняется как то, что (i) ΓY , что $\ast r$, где выражение « ΓY , что $\ast r$ » означает, что Γ сообщил, что $\ast r$, осуществив один из основных речевых актов Y , так и то, что (ii) в составе высказывания X есть некоторое конвенциональное языковое средство, значение которого таково, что его вхождение в высказывание X указывает, что ΓY , что $\ast r$;
- (3) для каждого элемента Y из множества основных речевых актов определить форму « ΓY , что $\ast r$ » либо через само окказиональное значение (Γ хочет сообщить, что...), либо через некоторый его существенный элемент (элементы), входящий в данное ранее определение этого значения.

(VI) Помимо решения поставленной задачи, необходимо дать объяснение единицам конвенционального значения высказывания, кото-

рые не являются частью того, что было сказано. Такое объяснение, по крайней мере для одного важного подкласса таких единиц, могло бы иметь следующий вид:

- (1) неясные единицы значения связаны с речевыми актами, которые обнаруживают себя позже и реализация которых зависит от реализации некоторого речевого акта (или дизъюнкции актов), входящего в множество основных речевых актов. Например, значение единицы *более того* непосредственно связано с речевым актом дополнения, осуществление которого предполагает предварительную реализацию какого-то из основных речевых актов.
- (2) Если Z — не основной речевой акт, то зависимость « Z , что $*p$ » от выполнения некоторого основного речевого акта должна быть представлена как свойство, оправдывающее не только нежелание рассматривать форму « Z , что $*p$ » как простое сообщение, что $*p$, но и нежелание рассматривать ее как сообщение, имеющее вид « $= p$ » или « $= *p$ » (здесь « $= p$ » или « $= *p$ » являются репрезентациями одной или нескольких сентенциальных форм, тесным образом связанные с выполнением речевого акта Z)².
- (3) Понятие Z , что $*p$ (где Z — речевой акт, не относящийся к основным) следует объяснять через понятие *хочет сказать, что* (или через некоторые важные единицы, входящие в определение этого понятия).

В. Обсуждение некоторых из поставленных проблем

Проблемы, которые я хочу обсудить в последней части работы, представлены в разделах II–IV описанной выше программы.

Этап II. Ниже без какого-либо специального обоснования дается заведомо упрощенная экспликация понятия окказионального значения; как я уже говорил в начале работы, мне хотелось бы, чтобы ее рассматривали как достаточную.

В статье [Grice 1957] я фактически уже предложил для схемы « G , произнося x , (неестественным способом) хочет сказать что-то» трехчленное определяющее выражение, которое кратко можно переформулировать таким образом: « G , адресуя свое высказывание x некоторой аудитории A , хочет, чтобы A распознала скрытое в x его намерение, и тем самым оказать на A посредством x определенное воздействие E (вызвать в A некоторую реакцию E)». Поскольку я на-

² Как, например, форма *moreover* «более того» тесно связана с речевым актом добавления.

мерен и дальше эксплуатировать основную идею этого определения, мне будет удобно ввести сокращение, а именно вместо выражения «Г хочет, чтобы А распознала скрытое в x намерение Г и тем самым оказать на А воздействие Б» я буду использовать выражение «Г *З-намерен* Б-воздействовать на А» («З» — от «значение»).

Основной пункт расхождения между тем, что я писал о значении в статье 1957 года, и моими сегодняшними взглядами, лежит в характеристике *З-намеренного* воздействия говорящего (вызвать ответную реакцию слушающего). Ранее я придерживался точки зрения, согласно которой *З-намеренное* воздействие индикативного высказывания состоит в том, что слушающий должен *считать нечто*, а *З-намеренное* воздействие императивного высказывания — в том, что слушающий должен *сделать (do)* нечто. Сейчас мне хотелось бы внести сюда некоторые поправки. А именно,

- (1) я буду считать, что *З-намеренное* воздействие императивного высказывания заключается в том, что слушающий должен *намереваться (intend)* сделать нечто (при этом говорящий, разумеется, неявно предполагает, что слушающий должен выполнить то, что ему говорят);
- (2) я буду считать, что *З-намеренное* воздействие индикативного высказывания состоит не в том, что слушающий должен считать нечто (хотя часто именно этого неявно хочет говорящий), а в том, что слушающий должен *думать, что говорящий считает нечто*.

Первая поправка позволяет дать более простую интерпретацию *З-намеренного* воздействия как всякий раз порождаемого некоторой пропозициональной установкой. Вторая поправка (сделанная с целью унифицировать трактовку индикативных высказываний, которые в одних случаях сообщают что-то или о чем-то рассказывают, а в других нет) вводит различие между двумя типами высказываний, а именно между *проявляющими (exhibitive)* высказываниями (посредством которых Г осуществляет *З-намеренное* воздействие на слушающего с целью сообщить ему свою пропозициональную установку), и *направляющими (protreptic)* высказываниями (при помощи которых Г осуществляет *З-намеренное* воздействие на слушающего так, что, передавая ему мысль о том, что у него, говорящего, имеется определенная пропозициональная установка, он хочет навязать слушающему эту установку).

Ниже я попытаюсь изложить это уточненное описание в более общем виде. Пусть A — это множество слушающих или адресатов. Обозначим через $\ast\psi$ (читается « ψ под звездочкой») переменную на множестве конкретных показателей наклонения, соответствующих пропозициональным установкам ψ (какими бы они ни были); например, «Г»

соответствует установке «считать (думать)», «!» — установке «намереваться». Теперь, пользуясь введенными обозначениями, можно дать следующее, пока еще достаточно грубое, определение:

D.1. «Произнося x (когда Γ произнес x), Γ хотел сказать, что $*\psi p$ » = « $(\exists A)$ (Γ произнес x , \exists -намереваясь сделать так, чтобы (i) A думал $\Gamma \psi$, что p , и только в некоторых случаях [в зависимости от идентификации „ ψp “], чтобы (ii) A , через посредство выполнения (i), сам ψ , что p)».

Удобно воспользоваться сокращенным вариантом этого определения. Пусть « ψ^\dagger » (читается « ψ -кинжал») — переменный оператор, действующий следующим образом: в одних случаях выражение « A должен ψ^\dagger , что p » следует интерпретировать как «что A должен думать $\Gamma \psi$, что p », а в других случаях его следует интерпретировать как «что A должен ψ , что p (считая, что $\Gamma \psi$, что p)». Выбор какой-то одной из этих интерпретаций зависит всякий раз от конкретизации переменной в $*\psi p$.

Теперь D.1. мы можем переформулировать так:

D.1'. «Произнося x (когда Γ произнес x), Γ хотел сообщить, что $*\psi p$ » = « $(\exists A)$ (Γ произнес x , \exists -намереваясь сделать так, чтобы A сделал ψ^\dagger , что p)».

Чтобы справиться со всеми теми трудностями, с которыми я столкнулся в работе 1957 года, понадобилась бы гораздо более сложная логическая конструкция. Однако примеры, заставляющие нас прибегать к ней, все относятся к изощренным видам коммуникации и речевой деятельности, а потому предложенное выше объяснение для иллюстративных целей кажется вполне достаточным.

Этап III. (Шаг (1): панхроническое значение для неструктурированных типов высказываний).

Я считаю очень важным различать две проблемы:

- (1) каково отношение между панхроническим значением (для полных типов высказываний) и окказионального значения?
- (2) как для синтаксически структурированных (языковых) типов высказываний панхроническое значение полного (сентенциального) типа связано с панхроническими значениями его частично структурированными и неструктурированными единицами (приблизительно, словами и словосочетаниями) и как дать объяснение панхроническому значению для неполных типов высказываний?

Если эти проблемы мы не будем рассматривать по отдельности, то едва ли когда-нибудь разберемся в той путанице, в какой непременно

окажемся, и виноваты в этом будем только мы сами. Поэтому сначала мы остановимся на вопросе о том, как применяется понятие панхронического значения к неструктурированным типам высказывания. Основным примером для меня будет жест (сигнал), и начну я с анализа понятия панхронического значения жеста для одного отдельно взятого человека (так сказать, для жестового идиолекта), и только после этого распространю это понятие на группу лиц. Таким образом мы на какое-то время обеспечим себе возможность отделить *установленное* значение от *конвенционального*.

Предположим, что для некоторого конкретного человека Г (то есть в его идиолекте) некая разновидность жеста «махать рукой» (далее М-Р) означает «я знаю маршрут». Мы должны поискать экспликацию смысла предложения «Для Г М-Р означает «я знаю маршрут»», которая бы устанавливала связь между панхроническим и окказиональным значением. В качестве предварительной попытки можно предложить что-то вроде «Линия поведения (практика, привычка) Г такова, что Г М-Р тогда и только тогда, когда хочет сообщить, что знает маршрут» (где выражение *знает что* должно быть проанализировано в соответствии с D.1.), или, в более явном виде, «Линия поведения (практика, привычка) Г такова, что Г М-Р тогда и только тогда, когда Г делает высказывание, посредством которого он хочет сообщить, что знает маршрут».

Если мы применим D.1. к данному толкованию, то получим следующее развернутое определяющее выражение: «Линия поведения (практика, привычка) Г такова, что Г М-Р тогда и только тогда, когда Г делает высказывание, посредством которого он хочет (для некоторого А) сделать так, чтобы А начал думать про Г, что Г думает, что знает маршрут». Так вот, независимо от того, приемлемо оно в каких-то других отношениях или нет, я утверждаю, что понятие 3-намеренного воздействия здесь бесполезно, а следует обратиться только к понятию простого намерения: если линия поведения (практика, привычка) Г такова, что использование Г жеста М-Р связано с наличием с его стороны *простого* намерения воздействовать на адресата так, как было описано выше, то отсюда следует, что когда Г в данном акте коммуникации употребит жест М-Р, он в данном акте будет 3-намеренно воздействовать на адресата этим способом.

Предположим, что мы, пользуясь только понятием простого намерения, конкретизируем линию поведения говорящего следующим образом: «Я (то есть говорящий Г) употребляю жест М-Р, в том и только том случае, если я намерен сделать так, чтобы (хочу, чтобы) некоторый А думал, что я знаю маршрут». Теперь, если у Г когда-либо возникнут конкретные намерения, которые будут отражаться в каждой конкретной манифестации его линии поведения, то производя жест

М-Р, Г (логически) должен считать, что существует по крайней мере одна ситуация, когда его намерения будут реализованы. Для того чтобы такое ожидание оправдалось, как это хорошо известно говорящему Г, его адресат А должен знать линию поведения Г и считать, что она проявляется в направленном на него высказывании М-Р. Тогда Г, производя в данном конкретном акте жест М-Р, должен ожидать, что А будет думать (или, по крайней мере, будет иметь возможность думать) следующее: 'Линия поведения (практика, привычка) Г такова, что он в настоящий момент *делает* высказывание М-Р, желая, чтобы я думал, что он думает, что знает маршрут; в таком случае я готов считать, что он думает, что знает маршрут'. Однако воспроизвести Г жест М-Р, ожидая от А такой реакции на жест, означает воспроизвести М-Р с 3-намерением, чтобы А начал думать, что Г думает, что знает маршрут. Поэтому формулировка линии поведения Г для конкретного М-Р высказывания с использованием понятия простого намерения является достаточной для того, чтобы данным высказыванием М-Р гарантировать, что Г *хочет сказать, что знает маршрут*.

Мы могли бы, следовательно, упростить определение: «Для Г М-Р означает 'я знаю маршрут'» $\stackrel{\text{def}}{=} \text{«Линия поведения (практика, привычка) Г состоит в воспроизведении М-Р высказывания, если и только в том случае если, для некоторого А Г намеревается сделать так, чтобы (хочет, чтобы) А начал думать про Г, что Г думает, что знает маршрут»}$. Однако это определение для нас неприемлемо, причем в двух отношениях.

Во-первых, высказывание М-Р для Г может иметь второе значение; оно может также означать 'я собираюсь уходить от тебя'. И если это так, то линия поведения (и т. д.) Г не может заключаться в том, чтобы воспроизвести М-Р *только если* Г хочет, чтобы А начал думать про Г, что Г думает, что знает маршрут; иногда он может произнести М-Р высказывание, желая, чтобы некоторый А начал думать про Г, что Г думает уходить от А.

Во-вторых, у Г могут найтись другие способы заставить А думать, что Г думает, что знает маршрут (например, сказать «я знаю маршрут»), и Г в данной конкретной ситуации может быть готов их использовать. В таком случае линия поведения (и т. д.) Г тоже не может состоять в выполнении жеста М-Р, *если* (то есть всякий раз, когда) Г хочет, чтобы А начал думать про Г, что Г думает, что знает маршрут.

Для того, чтобы преодолеть все эти трудности, я предлагаю ввести понятие «иметь в своем репертуаре средств некоторую процедуру». Это понятие мне кажется интуитивно вполне ясным, и его можно использовать за пределами языковых или иных коммуникативных практик, хотя едва ли кто-то возьмется утверждать, что оно не нуждается в дальней-

шей экспликации. У лектора с несколько экстравагантными манерами поведения может быть в репертуаре, например, такая процедура: увидев среди своих слушателей привлекательную девушку, он на минуту приостанавливает речь и принимает успокоительное. Наличие в его арсенале средств подобной процедуры не было бы несовместимым с двумя другими процедурами, тоже находящимися у него на вооружении, а именно: (а) видя привлекательную девушку, сразу надеть темные очки (вместо того, чтобы остановиться и принять успокоительное) и (б) остановиться и принять успокоительное, увидев среди слушателей не привлекательную девушку, а одного из своих выдающихся ученых-коллег. Нечто аналогичное имеет место в случае, когда в репертуаре средств говорящего Γ есть процедура, состоящая в воспроизведении М-Р, если он хочет, чтобы адресат (аудитория) A начал думать про него, что он думает, что знает маршрут: эта процедура не была бы несовместимой с наличием у Γ еще по меньшей мере двух следующих процедур: (а) сказать «я знаю маршрут», если Γ хочет, чтобы некоторый A начал думать про него, что он думает, что знает маршрут, и (б) воспроизвести М-Р, если Γ хочет, чтобы некоторый A начал думать про него, что он думает уходить от A . Поэтому я предлагаю такое определение:

D.2. «Для Γ тип высказывания X означает (имеет одним из своих значений), „ ψp “» $\stackrel{\text{df.}}{=} \langle \Gamma \text{ имеет в своем репертуаре средств следующую процедуру: воспроизвести конкретное высказывание } X, \text{ если } X \text{ намеревается сделать так, чтобы (хочет, чтобы) } A \psi^{\uparrow}, \text{ что } p \rangle$.

Теперь от понятия панхронического значения для «идиолекта» можно перейти к понятию панхронического значения для группы или класса индивидов. Если говорящий Γ воспроизводит высказывание М-Р, то мера ожидания успеха от реакции адресата A , которую Γ хотел получить в ответ на свое высказывание, очевидно зависит (как уже отмечалось выше) от знания адресатом A процедуры говорящего Γ , а если сигнал не требует объяснений каждому A , то вообще, от того, входит ли в репертуар A эта же процедура. Таким образом, очевидно, что каждый член некоторой группы G (внутри которой жест М-Р является средством коммуникации) захочет, чтобы его процедура по отношению к М-Р согласовывалась бы с общей практикой всей группы. Поэтому я ввожу следующее, пока еще достаточно грубое, определение:

D.3. «Для группы G тип высказывания X означает „ ψp “» $\stackrel{\text{df.}}{=} \langle \text{По крайней мере некоторые (многие?) члены группы } \Gamma \text{ } G \text{ имеют в своих репертуарах средств процедуру воспроизведения конкретного высказывания } X, \text{ если для некоторого адресата } A \text{ они намереваются сделать так, чтобы (хотят, сделать так, чтобы) } A \psi^{\uparrow}, \text{ что } p; \text{ сохранение}$

этой процедуры является для членов группы условным, если считать, что по крайней мере некоторые (другие) члены группы имеют или имели эту процедуру в своем репертуаре».

Определением D.3. вводится понятие стремления к согласию, а тем самым и, по-видимому, производное от него, понятие *правильного* и *неправильного* употребления высказывания X , отличающееся от понятий обычного или необычного употребления X .

Экспликация понятия «иметь в чем-то репертуаре средств некую процедуру» является, я думаю, задачей исключительной сложности. Мне хотелось бы хоть немного продвинуться в этом направлении, предложив следующее определение:

« G имеет в своем репертуаре средств процедуру P » = « $\forall G$ есть та или иная степень постоянной готовности (желание, настрой) к применению P », где под готовностью (и т. д.) применить P , будучи членом данного коллектива (так сказать, «младшим братом»), понимается намерение сделать P .

В таком виде, однако, определение является очевидно не достаточным. Например, может быть истинным то, что для моей чрезвычайно чопорной тетушки Матильды высказывание «он карлик» означает просто, что «он низкого роста», но тем не менее было бы абсолютно неверно утверждать, что моя тетушка при любых обстоятельствах хоть в какой-либо степени готова произнести это высказывание. Если нам что и требуется, так, пожалуй, понятие, которое бы говорило о наличии у нее *возможности* произнести данное высказывание, однако анализ и этого понятия тоже не ясен.

Поэтому сейчас я оставляю попытку дать такое определение и ограничусь рядом неформальных замечаний. Есть, как мне представляется, три основные ситуации, в каждой из которых можно вполне обоснованно говорить об устоявшейся процедуре по отношению к высказывательному типу X .

(1) Ситуация, когда X является актуальным для некоторой группы G ; иными словами, произнесение X в таких-то и таких-то обстоятельствах является для многих членов группы G обычной практикой. В этом случае о моей тетушке Матильде (члене группы G) при том, что она скорее бы умерла, чем произнесла X , можно было бы сказать, что она обладает процедурой для X , поскольку ей известно, что некоторые другие члены G *готовы* произнести X в таких-то и таких-то обстоятельствах.

(2) Ситуация, когда X актуален только для G ; произнесение X в таких-то и таких-то обстоятельствах является *исключительно* практи-

кой Γ . В этом случае Γ будет готов произнести X в таких-то и таких-то обстоятельствах.

(3) Ситуация, когда X вообще не актуально, но произнесение X в таких-то и таких-то обстоятельствах является частью некоторой изобретенной Γ системы коммуникации, которой тот никогда не пользовался (как, например, новыми правилами дорожного движения, которые я придумал, лежа в ванне). В этом случае у Γ есть процедура для X в том ослабленном смысле, что он предусмотрел возможную систему практик, которая, *по всей вероятности*, включает в себя готовность произнести X в определенных обстоятельствах.

Этап IV. (Шаг (1): применяется к актуальному панхроническому значению неструктурированных типов высказываний).

Теперь определим понятие актуального панхронического значения, которое будет применяться к М-Р:

D.4. «Когда Γ произнес X (тип высказывания), X значил „* p “»
 $\stackrel{\text{df.}}{=} \langle (\exists A) (\exists q) (\Gamma \text{ намеревался сделать так, чтобы (хотел, чтобы) адре-}$
 $\text{сат } A \text{ узнал (? или узнал, что он хотел, чтобы } A \text{ узнал), что } \Gamma \text{ хотел}$
 $\text{сообщить [окказиональное значение] своим высказыванием } X \text{ на осно-}$
 $\text{вании имеющегося у } A \text{ знания (предположения) о том, что для } \Gamma \text{ } X$
 $\text{означает (имеет в качестве одного из значений) „* p “)} \rangle$ [как определено в D.2].

Или в более развернутом виде:

Пусть символы «*» и «*’» являются переменными для показателей наклонений.

D.4'. «Когда Γ произнес X , X означал „* ψp “»
 $\stackrel{\text{df.}}{=} \langle (\exists A) (\Gamma, \text{ произнес } X, \text{ хотел сообщить, что } *'q, \text{ и намеревался сделать так, чтобы (хотел, чтобы) адресат } A \text{ узнал (? или узнал, что он хотел, чтобы } A \text{ узнал), что, произнес } X, \Gamma \text{ хотел сообщить, что } *'q, \text{ через посредство знания (предположения) } A, \text{ что в репертуаре } \Gamma \text{ есть процедура, состоящая в произнесении } X, \text{ если для некоторого } A' \Gamma \text{ хочет, чтобы } A' \psi^1, \text{ что } p) \rangle$ [‘ p ’ может как обозначать, так и не обозначать пропозициональное содержание, к которому относится неопределенная референция терма в составе экзистенциального квантора по ‘ q ’].

Определения D.4 и, естественно, D.4' свободно применимы как к случаю, когда Γ хотел при помощи жеста М-Р сообщить, что он знает маршрут (совпадение значения «...» и значения что...), так и к случаю, когда, например, Γ (преступник) завлек жертву в свою машину и сигнализирует (так сказать, косвенно, не буквально) сообщнику, что знает, как обращаться с жертвой. В обоих случаях Γ ожидает, что понимание

адресатом А М-Р высказывания будет опираться на знание А того, что в распоряжении Г есть некая процедура (произвести М-Р высказывание, если Г хочет, чтобы некоторый адресат думал про Г, что он думает, что знает маршрут).

Этапы III и IV. (Шаг (2): актуальное панхроническое значение для полных и неполных структурных типов высказываний).

Для анализа структурных типов высказываний и единиц, из которых они состоят, мне понадобится следующий теоретический аппарат.

(1) Пусть выражение « $\Sigma_1(\Sigma_2)$ » (читается « Σ_1 с Σ_2 ») обозначает предложение, в которое Σ_2 входит на правах «под-предложения», или предложения в составе данного. Допустим также, что предложение является под-предложением самого себя, так что Σ_2 может совпадать с Σ_1 .

(2) Пусть $v[\Sigma_1(\Sigma_2)]$ (читается « $v \Sigma_1$ с Σ_2 ») — это конкретное высказывание вида $\Sigma_1(\Sigma_2)$, которое произносит говорящий Г. $v[\Sigma_1(\Sigma_2)]$ является полным, или законченным, высказыванием, то есть оно не должно быть частью $v[\Sigma_2(\Sigma_1(\Sigma_2))]$ (не быть, к примеру, членом дизъюнкции высказываний).

(3) Известно, что стандартное значение предложения является результатом сложения значений входящих в них единиц (слов, лексических групп) (это свойство общее у предложений и словосочетаний). Поэтому необходимо ввести понятие «результатирующей процедуры»: в качестве первого приближения можно сказать, что процедура для типа высказывания X является результирующей, если она обусловлена (ее существование является следствием) знанием процедур (а) для данных типов высказываний, которые как элементы входят в X , и (б) для всякой последовательности типов высказываний, которая отражает конкретное упорядочение синтаксических категорий (конкретную синтаксическую форму).

Начну с понятия панхронического значения для идиолекта говорящего Г.

D.5. «Для Г Σ значит, что „* ψ р“»_{df.} = «У Г есть результирующая процедура для Σ , а именно произнести Σ , если для некоторого адресата А Г хочет, чтобы А ψ^{\dagger} , что p .» [определение D.5 параллельно D.2.].

Дать экспликацию панхронического значения в произвольном языке можно, по-видимому, с помощью соответствующей модификации D.3.; я этого, однако, здесь делать не буду.

Для актуального панхронического значения предлагаю такое определение:

D.6. « Σ_2 в $v[\Sigma_1(\Sigma_2)]$ означало „* ψp “» = «(ijA) (ijq) (Γ хотел сообщить, что * q , посредством $v[\Sigma_1(\Sigma_2)]$, и хотел, чтобы адресат A узнал про Γ , что Γ хотел сообщить, что * q посредством $v[\Sigma_1(\Sigma_2)]$, по крайней мере частично основываясь на представлении о том, что у Γ есть результирующая процедура для Σ_2 , а именно (для подходящего A') произнести Σ_2 , если Γ хочет A' ψ , что p)» [определение D.6 параллельно D.4'].

Пока что этого (по-видимому) достаточно. Между тем понятие «результирующей процедуры» осталось совершенно не проясненным, а потому, если мы хотим хоть как-то уточнить понятие «значение слова» и его соотношение с понятием «значит, что», необходимо обратиться к значительно более важным глубинным механизмам, являющимся источником результирующих процедур. Было бы очень неплохо описать их общую схему, показать роль значений (для слов каждого типа) в определении (в сочетании) значений предложений (рассмотрев предложения самых разных синтаксических структур). Это, однако, при сегодняшнем состоянии нашего знания представляет собой поистине титаническую задачу. Поэтому самое большее, на что мы можем сегодня рассчитывать, это на эскизное изложение — для весьма ограниченной (но центральной) области типов слов и синтаксических форм — фрагмента того вида теории, в которой мы нуждаемся.

Возьмем лишь одну область (или часть ее) безусловно утвердительных предложений (причем не обязательно изъявительного наклонения), в состав которых входит некоторое существительное (или конкретно — референтная именная группа) и прилагательное (или адъективная группа). По-видимому, теоретический аппарат, который нам нужен для этого случая, должен выглядеть следующим образом:

(1) Предположим, что σ — это индикативное предложение. Тогда нам необходимо научиться пользоваться понятиями «индикативный вариант предложения σ (само σ)», «императивный вариант предложения σ », «оптативный вариант предложения σ » и т. д. (варианты наклонений). Предоставить нам такой аппарат, который дал бы нам возможность правильно использовать эти понятия, является одной из задач лингвистической теории (а потому, коль скоро мы относим себя к философам языка, мы можем считать, что такой аппарат у нас уже есть).

(2) Мы должны также научиться пользоваться таким понятием, как «предсказывание свойства, β (адъектива) α (имени)». Каждое из высказываний *Smith is tactful* 'Смит тактичный', *Smith be tactful* 'Смит, будь тактичным', *Let Smith be tactful* 'Пусть Смит будет тактичным', *Oh that Smith may be tactful* 'Ох, этот Смит мог бы быть тактичным' следует рассматривать как результат предсказания «Смиту» признака

«тактичный». И здесь опять-таки построение строгого описания этого синтаксического процесса является задачей лингвистической теории.

(3) Предположим на минуту, что мы знаем, что представляют собой, и считаем заданными два вида отношений: R-отношение (референциальное) и D-отношение (денотативное). Нам хочется иметь возможность говорить о некотором объекте как о R-корреляте имени α , а о каждом члене некоторого класса — как о D-корреляте адъектива β .

Допустим теперь, что в арсенале средств говорящего Γ имеются следующие процедуры:

P.1. Произнести индикативный вариант предложения σ , если (для некоторого адресата A) Γ хочет, чтобы (намеревается сделать так, чтобы) A начал думать, что Γ ... (многоточие заполняется здесь индикативным вариантом σ , например, *Smith to be tactful* 'Смит был тактичным' (аналогично также, например, P.1', полученное из P.1 заменой «индикатива» на «императив» и «намереваться» на «думать, что Γ думает»). [Такого рода процедуры устанавливают связь между конкретными наклонениями и конкретизациями ϕ^{\dagger} .]

P.2. Произнести ϕ^{\dagger} — коррелятивный предикат β в отношении к α , если (для некоторого адресата A) Γ хочет, чтобы A ϕ^{\dagger} данный R-коррелят α был одним из элементов данного множества D-коррелятов β .

Предположим далее, что применительно к Γ выполнены следующие отношения:

- C1. Собака Джонса является R-коррелятом имени «Фидо».
- C2. Всякий покрытый волосами (шерстью) предмет является D-коррелятом адъектива «лохматый».

Если в распоряжении Γ есть исходные процедуры P.1. и P.2., то мы можем отсюда вывести, что у Γ есть результирующая процедура (обусловленная P.1. и P.2.), а именно RP1. Произнести индикативный вариант предикации β по отношению к α , если Γ хочет, чтобы A начал думать про Γ , что тот думает, что данный R-коррелят α является одним из элементов данного множества D-коррелятов β .

При условии, что у нас есть RP1 и C2, мы можем заключить, что у Γ есть процедура

RP3. Произнести индикативный вариант предикации β в отношении «Фидо», если Γ хочет, чтобы A начал думать про Γ , что тот думает, что собака Джонса является одним из элементов множества покрытых шерстью предметов (то есть лохматой).

А если мы обладаем полученной от лингвистов информацией о том, что предложение *Fido is shaggy* 'Фидо лохматый' является индикативным вариантом предикации «лохматый» в отношении «Фидо» (любого предполагаемого), то мы отсюда можем вывести, что Γ обладает результирующей процедурой RP4:

RP4. Произнести *Fido is shaggy* 'Фидо лохматый', если Γ хочет, чтобы адресат A начал думать про Γ , что тот думает, что собака Джонсов покрыта шерстью. И процедура RP4 дает следующую интерпретацию: Для Γ «Фидо лохматый» означает, что «собака Джонсов покрыта шерстью».

Я еще не предложил никакой экспликации для утверждений панхронического значения, соотносительных с неполными типами высказываний. Сегодня я не готов дать толкование для схемы « X [неполное высказывание] означает „...“»; более того, я не думаю, что для нее действительно можно предложить какую-то универсальную форму экспликации: если синтаксическая категория X не установлена, то скорее всего этого вообще нельзя сделать. Однако я хотел бы предложить толкование, которое, как кажется, является адекватным для *адъективного* X (например, «лохматый»).

D.7. «Для Γ (адъектив) означает „...“ = df. «У Γ есть такая процедура: произнести ψ^\dagger -коррелированную предикацию X по отношению к α , если (для некоторого A) Γ хочет, чтобы A ψ^\dagger данный R-коррелят α был...» [где две лакуны, представленные многоточием, заполняются одинаково].

Можно показать, что всякая конкретная процедура той формы, которая упоминается в определяющем выражении в D.7., является *результирующей*. Так, если Γ имел P.2., а также C. 2., то отсюда можно заключить, что он обладает следующей процедурой: произнести ψ^\dagger -коррелированную предикацию «лохматый» применительно к α , если (для некоторого A) Γ хочет, чтобы A ψ^\dagger конкретный R-коррелят α был одним из элементов множества покрытых шерстью предметов, то есть, что для Γ «лохматый» означает, что «покрытый волосами или шерстью».

Теперь можно предложить определение понятия *полный* тип высказывания, которое до сих пор мы считали неразложимым:

D.8. «Тип высказывания X является полным» = df. «Полностью развернутое определяющее выражение для „ X означает...“ не содержит ни одной эксплицитной референции к корреляту, кроме тех, что входят в разговор об R-корреляте некоторого референциального выражения

внутри *X*» [можно полагать, что развернутое определяющее выражение для полного типа высказывания *He is shaggy* 'Он лохматый' содержит оборот «конкретный R-коррелят элемента „он“»].

Корреляция. Теперь пора перестать считать и понятие корреляции само собой разумеющимся. Что, например, означает сказать, что собака Джонса является определенным или некоторым R-коррелятом единицы «Фидо»? Одна из идей определения (менее встроенная в него) состоит в том, чтобы считать, что «Фидо» и «собака Джонса» составляют пару в некоторой системе, где имена и объекты образуют упорядоченные пары. Однако в *одном смысле* слова «пара» каждое имя и каждый объект всегда образуют пару (точнее, упорядоченную пару, первая компонента которой является именем, а второй — объектом). Нам нужен другой смысл «пары», а именно тот, при котором «Фидо» образует пару с «собакой Джонса», но не с «кошкой Смита». Может быть, для этого подойдет понятие «отобранная (или выбранная, избранная, отборная) пара»? А что означает «отобранная» или «отборная пара»? «Отборная» ведь не в том смысле, в каком можно не задумываясь взять с тарелки яблоко или апельсин, а скорее в том смысле, в каком можно выбрать или отобрать собаку (то есть существо, с которым человек-селекционер намерен что-то делать). А как поступать в случае, когда пара состоит из слова и предмета? И в чем тогда состоит процесс отбора?

Я предлагаю начать с разбора одного частного случая, в котором языковая и неязыковая единицы связаны друг с другом *даным образом*. Допустим, что корреляция между единицами, которые ранее в *данном* отношении не находились и которые не находятся в *данном* отношении ни с каким элементом из любой другой области, возникла в результате выполнения некоторого действия. Коль скоро акт установления связи *может быть* вербальным, то как тогда это происходит?

Допустим, что *G* производит некое конкретное высказывание *V*, которое относится к типу высказываний «лохматый: покрытый волосами или шерстью». Чтобы иметь возможность говорить, что *G* посредством *V* связал «лохматый» с каждым элементом множества покрытых волосами (шерстью) объектов, нам нужно иметь возможность сказать, что существует такое отношение R, что:

- (а) в результате высказывания *V* говорящего *G* единица «лохматый» стала находиться в отношении R с каждым элементом из множества покрытых волосами или шерстью объектов и только с ним;
- (б) *G* произнес *V* для того, чтобы посредством *V* установить отношение R.

Очевидно, что необходимо ввести условие (б), к которому читатель может отнестись с подозрением, поскольку оно задает референцию

к намерениям Γ осуществить акт корреляции, — одного только условия (а) недостаточно. Действительно, независимо от намерений Γ , в результате произнесенного им высказывания V возникает ситуация, при которой отношение R имеет место только между языковым выражением «лохматый» и каждым объектом Z , покрытым волосами или шерстью, а именно отношение, в результате которого выражение «лохматый», произнесенное Γ в данном акте, ставится в соответствие имени класса, к которому принадлежит Z . Дело, однако, осложняется тем, что в том же самом акте благодаря высказыванию V устанавливается также еще одно отношение R' между выражением «лохматый» и произвольным объектом Z' , не покрытым волосами (шерстью), а именно состоящее в том, что выражение «лохматый», произнесенное Γ в составе V , ставится в соответствие имени *дополнения* класса, к которому принадлежит Z' . Нам для наших целей, однако, совсем не хочется думать о Γ , как устанавливающем отношение между «лохматый» и произвольным объектом, не покрытым волосами (шерстью). Единственный способ устранить отношение R' — это добавить условие (б), фиксирующее наше внимание на отношении, которое *хочет (намерен)* установить Γ . Интенциональность, по всей видимости, заложена в самый фундамент лингвистической теории.

Более формально объяснение корреляции выглядит следующим образом. Пусть V — конкретное высказывание (в письменной форме) типа «'Лохматый': покрытый волосами или шерстью объект». Тогда, « Γ посредством V приписал признак 'лохматый' каждому объекту, покрытому волосами или шерстью, (и только ему)» $\equiv (\exists R) \{(\Gamma \text{ посредством } V \text{ достиг того, чтобы } (Vx) (R \text{ 'лохматый' } x \equiv xy \text{ (} y \text{ — покрытый волосами или шерстью объект)})) \& (\Gamma \text{ произнес } V, \text{ чтобы посредством } V \text{ достичь того, чтобы имело место } (Vx) \dots)\}$.

При таком понимании корреляции между языковым выражением и неязыковыми объектами Γ связал признак «лохматый» с объектами, покрытыми волосами (шерстью), только если существует распознаваемое отношение R' , для которого выполняется условие, указанное в определяющем выражении. Что из себя представляет отношение R' ? Я полагаю, что $R'xy \equiv x$ — это (слово) тип, такой, что V — это последовательность, состоящая из конкретного выражения x , за ним двоеточия, а за двоеточием идет выражение [«покрытые волосами (шерстью) объекты»], R -коррелят которого — это множество, содержащее y в качестве элемента. Если Γ произнес высказывание V , то отношение $R'xy$ выполняется между «лохматый» и каждым покрытым волосами (шерстью) объектом. Актом произнесения любого высказывания V' той же, что и V , формы устанавливается отношение $R''xy$ (содержащее V' вместо V), которое имеет место между любым языковым

выражением и любым элементом произвольного множества неязыковых единиц.

Есть и другие способы достичь того же результата. Цель высказывания может быть задана в самом высказывании: $V =$ высказывание «Делать так, чтобы для некоторого R 'лохматый' R было применимо ко всякому покрытому волосами (шерстью) объекту, 'лохматый': объекты, покрытые волосами (шерстью)». (Выражение R здесь уже будет иметь другой вид, а именно «высказывание V , содержащее в себе» вместо «высказывание V , состоящее из...».) Или Γ может использовать перформативную форму высказывания, а именно: «Я связываю признак 'лохматый' с каждым покрытым волосами (шерстью) объектом». Высказывание такой формы будет всегда не только устанавливать требуемое отношение но и маркировать себя как высказывание, имеющее цель установить данное отношение.

Тем не менее, какова бы ни была форма высказывания V , с помощью которого устанавливается необходимая эксплицитная связь, сказать о V , что оно производит акт корреляции (или что оно предназначено для этого), фактически означает осуществить акт неопределенной референции к отношению, устанавливаемому посредством данного высказывания, а конкретизация отношения, в свою очередь, предполагает дальнейшее использование понятия конкретизации (в частности, как это было выше, когда речь шла о множестве, являющимся коррелятом (R -коррелятом) данного выражения (например, «покрытые волосами (шерстью) объекты»)). Это кажущееся движение по кругу может вполне вызвать возражение; ведь хотя выражение «корреляция» и не используется в самом определении корреляции, оно участвует в конкретизации неопределенной референции, входящей в это определение. Было бы крайне желательно (и даже необходимо) найти способ разорвать этот круг на некотором витке. (Разве это только эмпирическое требование?) Если этого не сделать, то можно ли тогда вообще установить необходимую корреляцию (при условии, что предшествующая корреляция предполагается заданной)? Попробуем установить «остенсивную (то есть явную) корреляцию».

(Действия 1, 2, 3 и т. д.) Γ показывает объекты $\left\{ \begin{matrix} a_1, \\ a_2, \\ a_3 \end{matrix} \right\}$ один за дру-

гим, при каждой демонстрации произнося «лохматый» (и намереваясь показать только те объекты, которые покрыты волосами или шерстью). Для того, чтобы комбинация всех этих действий давала связь признака «лохматый» с каждым объектом, покрытым волосами, должно быть выполнено следующее условие:

($\exists R$) (Действиями 1, 2, 3 и т. д. Γ достиг (и хотел достичь) того, что ($\forall y$) (отношение R к y есть «лохматый» в том и только в том случае, если y — покрытый волосами или шерстью объект)).

Как должно конкретизироваться это отношение? А вот как:

$R'xy$ (для некоторого F) [а именно, быть покрытым волосами или шерстью] (Γ показал и намеревался показать только те объекты, которые суть F , и в действиях 1, 2, 3 и т. д. сопровождал каждую демонстрацию этих объектов произнесением языкового знака — субститута x , и y есть F).

Если известно, что эти демонстрации имели место, то между единицей «лохматый» и каждым объектом, покрытым волосами, устанавливается отношение $R'xy$, и, по крайней мере *как кажется*, конкретизация этого отношения более не содержит внутренней отсылки к корреляции.

До сих пор мы строили все свои рассуждения, опираясь на допущение, что корреляции, которые наряду с исходными процедурами порождают также и другие, все являются эксплицитными, иными словами, что каждая корреляция устанавливается в результате некоторого вполне распознаваемого и подлежащего датировке акта. Очевидно, однако, что допущение это искусственно. Многие коррелятивные связи, как референциальные, так и денотативные, возникают скорее сами по себе, чем создаются кем-либо. Ситуация, видимо, выглядит следующим образом:

(1) Мы должны прибегнуть к определенной результирующей процедуре (назовем ее $RP12$), а именно предсказать признак β имени «Фидо», когда Γ хочет, чтобы $A \psi^t$, что собака Джонса является D -коррелятом β ; и мы хотим говорить, что по крайней мере иногда такая результирующая процедура приводит, помимо всего прочего, к *неявной* (или: *неэксплицитной*) R -корреляции между «Фидо» и собакой Джонса.

(2) Соблазнительно предположить, что неявная R -корреляция между «Фидо» и собакой Джонса *состоит* в том, что Γ *может* эксплицитно соотнести «Фидо» с собакой Джонса.

(3) Однако утверждение, что Γ может эксплицитно соотнести «Фидо» с собакой Джонса, должно пониматься как эллиптический способ сказать нечто, имеющее вид « Γ может эксплицитно соотнести „Фидо“ с собакой Джонса, *если p* ».

Как определить, что такое « p »?

(4) Возможно, *если p* — это «если бы говорящего Γ попросили указать на эксплицитную корреляцию с „Фидо“». Однако если бы

говорящий действительно столкнулся с такой просьбой, он вполне мог бы понять ее как просьбу установить и зафиксировать некоторое соглашение (условие о наличии) о связи, и тогда у него была бы абсолютно полная свобода действий. Однако в случае, если говорящего просят не о принятии соглашения, то ему должно быть каким-то образом передано, что устанавливаемая им эксплицитная связь должна удовлетворять некоторому, отнюдь не произвольному условию. Но тогда каким должно быть это условие? Опять-таки соблазнительно считать, что говорящий должен устанавливать эксплицитную связь, которая бы соответствовала существующим процедурам или годилась для них.

(5) Применительно к RP12 это, по всей видимости, равносильно наложению требования, что говорящий должен устанавливать такую эксплицитную корреляцию, которая порождает бы данную процедуру RP12.

(6) В этом случае RP12 возникнет как результат неявной корреляции, состоящей в том, что говорящий *может* эксплицитно соотнести «Фидо» с собакой Джонса, если захочет установить эксплицитную связь, порождающую релевантные результирующие процедуры, а именно саму RP12. Логический круг очевиден. Но можно ли его здесь терпеть?

(7) Да, здесь круг терпеть можно, поскольку перед нами лишь частный случай общего явления, которое возникает в попытках дать объяснение языковой практике. Если нам повезет, то мы сможем сформулировать так называемые «языковые правила», которыми мы *как будто* руководствуемся в своей языковой практике. Мы, однако, хотим подчеркнуть, что эти правила являются не просто интересным фактом нашей языковой практики, но и ее объяснением, а тогда мы должны признать, что «в некотором неявном смысле», то есть «имплицитно», мы эти правила принимаем как верные. А раз так, то ввиду того, что «принятие» правил необходимо отличать от наличия соответствующих практик, правильная интерпретация представления, в соответствии с которым мы *действительно* принимаем эти правила, становится несколько загадочной. Хотя мы признаем, что загадка эта до сих пор не решена, ее разгадку придется отложить по крайней мере на какое-то время.

Заключительные замечания

Читатель, наверное, заметил, что предложенное нами объяснение целого ряда понятий, связанных с термином «значение», непосредственно связано с анализом определяющих выражений для интенциональных понятий, таких как намерение и полагание, а комментарии по поводу

символической (формальной) записи, которые я делал по ходу изложения, были частично вызваны взятыми на себя обязательствами обсудить законность квантификации таких единиц, как пропозиция. Ниже мне хотелось бы высказать два очень общих замечания об этой стороне рассмотренной процедуры.

(1) Мне не нравится методологический принцип с первых же шагов ограничивать себя формулировкой теории значения исключительно в экстенциональных терминах. Думается, что по крайней мере *в самом начале* анализа нет никакой необходимости связывать себя, и при решении концептуальных проблем (пусть даже на каком-то одном уровне), когда наиболее привлекательным выглядит сочетание разума и интуиции (отбросим в сторону метафизические предрассудки), следует обращаться к самым разным интенциональным понятиям и схемам, извлекая из этого максимальную для себя пользу. Если исследователь пренебрегает такой предоставленной ему свободой, то он подвергает себя крайне серьезной опасности недооценки богатства и сложности той концептуальной области, которую изучает.

(2) Я уже отмечал выше, что интенциональность, видимо, заложена в само основание теории языка. Однако, даже если это предположение верно, я не думаю, что оно может помешать выдвинутому или принимаемому его человеку придерживаться экстенционального подхода, и вот в каком (по крайней мере одном) важном отношении. Те понятия, которые, как я полагаю, необходимы для построения адекватной теории языка, не обязаны входить в круг наиболее простых и фундаментальных психологических понятий (подобно понятиям, которые приложимы не только к людям, но и к самым примитивным животным), и вовсе не исключено, что интенциональные понятия, которыми я пользовался в настоящей работе, являются дериватами (в соответствующем смысле этого слова) более простых экстенциональных понятий. Стороннику экстенциональной точки зрения придется столкнуться с проблемой перехода от экстенционального языка к неэкстенциональному, и мне совсем не кажется очевидным, что интенциональность можно объяснять, *основываясь исключительно* на представлении о скрытой соотносительности с языком. А потому нам нужны понятия, с помощью которых удастся достичь понимания законов и механизмов языкового функционирования.

Вопросы теории порождающей грамматики*

Н. Хомский

(а) Основные положения и цели

Моим исходным намерением было использовать эти лекции для того, чтобы представить некоторые недавние работы по общей лингвистической теории и по структуре английского языка, выполненные в общих рамках трансформационной порождающей грамматики. Однако, как показал ряд недавних публикаций, многие положения, на которые я надеялся опираться как на общепризнанные, в значительной мере рассматриваются как спорные, и кроме того, наблюдается достаточно существенное непонимание общего подхода, который я ожидал взять за основу — в частности, непонимание того, какие элементы этого подхода выражают сущностные (substantive) положения о природе языка и, тем самым, могут являться, предметом законного обсуждения, а какие, напротив, связаны только с задачами и интересами исследователя и, тем самым, могут быть предметом спора не в большей степени, чем вопрос: права или нет химия? В свете сказанного, мне представляется оправданным изменить мой исходный план и посвятить гораздо больше времени, чем я намеревался вначале, основным положениям и общим вопросам различного рода. Я все же надеюсь, что мне удастся включить в изложение (в значительном сокращении) обзор некоторых недавних работ, но я подойду к этому постепенно, в несколько шагов:

- (1) обсуждение общих положений и задач, которые лежат в основе и являются побудительным мотивом работ по порождающей грамматике последнего десятилетия;
- (2) обсуждение различных возражений на эту общую точку зрения, которые, как мне кажется, основаны на ошибках, непонимании или словесных уловках (equivocation) того или иного рода;

* *Chomsky Noam. Topics in the Theory of Transformational Generative Grammar.* Из работы: *Chomsky N. Topics in the Theory of Generative Grammar // Janua Linguarum. The Hague: Mouton & Co., 1966. P. 7-24, 51-75.*

- (3) представление теории порождающей грамматики на примере таких работ, как [Chomsky 1957; Lees 1960; Halle 1962; Katz, Fodor 1963];
- (4) обсуждение некоторых реальных недостатков, которые проявились в данном подходе в работах последних нескольких лет; и
- (5) очерк улучшенной и усовершенствованной версии данной теории, разработанной с целью преодоления обнаруженных трудностей.

Я попытаюсь охарактеризовать эти пункты в первых трех разделах; сосредоточась главным образом на синтаксисе. Раздел I будет посвящен первому пункту, раздел II — второму, раздел III — третьему, четвертому и пятому¹⁾.

В последнем разделе я хотел бы обсудить подход к изучению звуковой структуры, который претерпевает постоянную эволюцию после выхода работы [Chomsky, Halle, Lukoff 1956]; его различные этапы развития представлены в наших последующих публикациях с Халле (перечисленных ниже в Библиографии) и, я надеюсь, вскоре этот подход увидит свет в виде книги, подготовка которой сейчас активно ведется. В ходе этого обсуждения я остановлюсь также на нескольких критических оценках данного подхода. Обсуждение критических замечаний будет, однако, очень кратким, поскольку Халле и я достаточно подробно обсуждали большую их часть, в той мере, в какой они нам известны, в другом месте²⁾.

В целом, данный очерк не содержит нового и оригинального материала; он задуман лишь как неформальное руководство по другим книгам и статьям³⁾, в которых затрагиваемые здесь вопросы разбираются более обстоятельно, а также как попытка разъяснить некоторые вопросы, которые были подняты в ходе критического обсуждения.

В данной статье я также выскажу некоторые замечания по поводу исторических предпосылок того направления, которое будет охарактеризовано⁴⁾. Немалое число комментаторов полагает, что недавняя работа в рамках порождающей грамматики некоторым образом является следствием интереса к использованию компьютеров для той или иной цели, или что она имеет какое-либо другое прикладное (engineering) обоснование, или что она, возможно, представляет собой некий загадочный раздел математики. Подобный взгляд мне непонятен, и он,

¹⁾ В настоящее издание включены разделы I и III оригинала, обозначенные как (a) и (b), соответственно. [Ред.]

²⁾ В частности, см. [Chomsky 1964, 105–107], где рассмотрены критические замечания, высказанные в рецензии Ч. А. Фергюсона на [Halle 1959]; а также [Chomsky, Halle 1965], где рассмотрены возражения, выдвигаемые Ф. У. Хаусхолдером-мл. в [Householder 1965].

³⁾ Например, [Katz, Postal 1964; Chomsky 1964; 1965].

⁴⁾ Этот вопрос подробнее обсуждается в [Chomsky 1964, § 1; 1965, ch. 1, § 8; 1966].

в любом случае, является совершенно неверным. Гораздо более про- ницательными являются те критики, которые характеризовали данную работу как, в значительной мере, возвращение к интересам и зачастую даже к конкретным учениям традиционной лингвистической теории. Это действительно верно — и, видимо, многие критики не осознают, насколько в большой степени³⁾. Мое отличие от них заключается лишь в том, что я расцениваю данное замечание не как критику, а скорее как определенную заслугу этой работы. Иными словами, мне кажется, что как раз современные исследования языка, предшествовавшие эксплицитным исследованиям порождающей грамматики, имели тот существенный недостаток, что они не были способны отвечать на традиционные вопросы и, более того, осознавать, насколько справедливы многие из традиционных ответов на них и до какой степени они предоставляют плодотворную основу для дальнейших исследований.

Необходимо проводить различие между тем, что говорящий на языке знает неявным образом (и что можно назвать его *компетенцией*) и тем, что он делает (его *употреблением* языка). Грамматика, в традиционном смысле, изучает компетенцию. Она описывает и пытается объяснить способность говорящего к пониманию произвольного предложения на своем языке и к построению подходящего предложения в конкретной ситуации. Если перед нами учебная грамматика, она пытается наделить этой способностью ученика; если это лингвистическая грамматика, в ее задачу входит обнаружить и представить те механизмы, которые делают возможным данное достижение. Компетенция говорящего-слушающего может в идеальном случае быть представлена как система правил, связывающих сигналы с семантическими интерпретациями этих сигналов. Задача грамматиста состоит в том, чтобы найти такую систему правил; задача лингвистической теории состоит в том,

³⁾ В качестве одного из примеров рассмотрим статью А. Рейчлинга [Reichling 1961], который утверждает, что про меня, очевидно, нельзя сказать, чтобы я «симпатизировал такому „менталистскому монстру“, как „*innere Sprachform*“ [внутренняя форма языка (нем.). — *Прим. перев.*]. В действительности же работа, которую он обсуждает, является совершенно явно и сознательно менталистской (в традиционном, а не блумфильдовском, смысле этого слова — то есть, является попыткой построить теорию мыслительных процессов) и, более того, она может быть вполне точно охарактеризована как попытка развить гумбольдовское понятие «формы языка» и его следствий для когнитивной психологии, что, несомненно, должно быть очевидно любому, кто знаком и с Гумбольдом, и с последними работами по порождающей грамматике (подробное обсуждение см. в указанных выше источниках).

Я не буду рассматривать здесь рейчлинговскую критику порождающей грамматики. Процитированное замечание является всего лишь одной иллюстрацией его полного непонимания целей, интересов и специфического содержания работы, которую он обсуждает, а его обсуждение основано на таких грубых искажениях данной работы, что здесь едва ли требуется какой-либо комментарий.

чтобы найти общие свойства любой системы правил, которая может служить основой для естественного языка; то есть разработать в подробностях то, что, используя традиционные термины, можно назвать *общей формой языка*, которая лежит в основе каждой конкретной ее реализации, каждого конкретного естественного языка.

Употребление предоставляет нам данные для исследования компетенции. В то же время, преимущественный интерес к компетенции не влечет за собой пренебрежения к фактам употребления и к проблеме объяснения этих фактов. Напротив, трудно представить себе серьезное изучение употребления, кроме как на основе эксплицитной теории компетенции, лежащей в его основе, и, в действительности, работы, способствовавшие пониманию употребления, являлись главным образом побочным продуктом изучения грамматик, описывающих компетенцию⁶⁾.

Заметим, в этой связи, что обычно человек не осознает тех правил, в соответствии с которыми осуществляется интерпретация предложений в языке, который он знает; и, в сущности, нет причин предполагать, что эти правила могут стать осознанными. Более того, нет причин ожидать, что он будет осознавать даже эмпирические последствия этих усвоенных (internalized) правил — то есть тот способ, каким сигналам приписываются семантические интерпретации согласно правилам грамматики языка, который он знает (и, по определению, знает в совершенстве). По поводу трудностей осознаваемого представления собственной языковой интуиции см. обсуждение в [Chomsky 1965, ch. 1, § 4]. Важно понимать, что во всем этом нет никакого парадокса; на самом деле все именно так, как и следовало ожидать.

Это традиционное представление об интересах и задачах принимается и в современных работах по порождающей грамматике. Она, однако, стремится пойти дальше, чем традиционная грамматика, в одном фундаментальном отношении. Как неоднократно подчеркивалось, традиционные грамматики в значительной степени обращаются к сообразительности говорящего. Они не формулируют в явном виде правила грамматики, но скорее приводят примеры и делают намеки, которые дают возможность понятливому читателю определить грамматику некоторым способом, который сам по себе непонятен. Они не представляют анализ той *faculté de langage* ['языковой способности', (фр.) — *Прим. перев.*], которая делает возможным осуществление этого. Чтобы вывести изучение языка за пределы традиционных границ, необходимо признать эту ограниченность и разработать способы ее преодоления.

⁶⁾ См. обсуждение в [Miller, Chomsky 1963; Chomsky 1965, ch. 1, § 2].

Это и есть та фундаментальная задача, на решение которой направлена вся деятельность в рамках порождающей грамматики.

Самым потрясающим аспектом языковой компетенции является то, что можно назвать «творческой природой языка» (*creativity of language*), то есть способностью говорящего производить новые предложения — предложения, которые мгновенно понимаются другими говорящими, хотя они не имеют никакого физического сходства с уже «знакомыми» предложениями. основополагающее значение этого творческого аспекта в нормальном использовании языка признавалось по крайней мере с XVII века, и оно находилось в самом центре гумбольдтовского общего языкознания. Современной лингвистике, однако, можно вменить в серьезную вину ее неспособность овладеть этой центральной проблемой. На самом деле, абсурдно даже говорить о «знакомстве с предложениями» со стороны говорящего. Нормальное использование языка включает в себя построение и интерпретацию предложений, которые похожи на ранее слышанные предложения лишь в том, что они порождены по правилам той же самой грамматики, так что единственным типом предложений, которые могут быть названы «знакомыми» в каком-либо серьезном смысле, являются клише или застывшие формулы того или иного рода. Степень безошибочности этого положения существенно недооценивалась даже теми лингвистами (как, например, О. Есперсен), которые уделяли некоторое внимание проблеме творчества. Это очевидно из обычного описания использования языка как вопроса «грамматической привычки» (например, [Espersen 1924]). Важно осознавать, что в психологии не существует такого истолкования «привычки», при котором данная характеристика использования языка была бы верна (точно так же, в психологии или философии не существует такого истолкования понятия «обобщение», которое дает нам право охарактеризовать новые предложения в повседневном использовании языка как обобщения предыдущих употреблений). Доступность трактовки нормального использования языка как вопроса «привычки» или как основанного каким-либо фундаментальным образом на «обобщении» не должна ни для кого затемнять понимание того, что эти характеристики попросту неверны, если использовать термины в техническом и строго определенном смысле, и что они могут приниматься лишь как метафоры — метафоры, в высшей степени вводящие в заблуждение, поскольку они склонны внушать лингвисту полностью ошибочное убеждение, будто проблема рассмотрения творческого аспекта нормального языкового использования не является, в конечном итоге, такой уж серьезной.

Вернемся теперь к центральной теме: *порождающая грамматика* (то есть эксплицитная грамматика, которая не обращается к *faculté de langage* читателя, а скорее пытается включить в себя механизмы

этой способности) — есть система правил, которая соотносит сигналы с семантическими интерпретациями этих сигналов. Она *дескриптивно адекватна* в той мере, в какой это парное соотношение соответствует компетенции идеального говорящего-слушающего. Идеализация состоит (в частности) в том, что при изучении грамматики мы абстрагируемся от многих других факторов (например, ограничения памяти, отвлечение внимания, изменение намерения в ходе разговора и пр.), которые во взаимодействии с лежащей в основе компетенцией создают реальное употребление.

Если порождающая грамматика должна соотносить сигналы с семантическими интерпретациями, то теория порождающей грамматики должна предоставлять общие, независимые от языка средства представления сигналов и семантических интерпретаций, которые взаимно связываются друг с другом грамматиками конкретных языков. Этот факт признавался с самого зарождения лингвистической теории, и традиционное языкознание предпринимало различные попытки разработать теории универсальной фонетики и универсальной семантики, которые могли бы соответствовать этому требованию. Не буду вдаваться в подробности, но мне кажется, что многие согласятся со мной в том, что общая проблема универсальной фонетики достаточно хорошо ясна (и так было, по сути, на протяжении уже нескольких столетий), тогда как проблемы универсальной семантики все еще остаются покрытыми традиционной для них неизвестностью. У нас имеются достаточно разумные технические способы фонетической репрезентации, которые, как кажется, близки к адекватности для всех известных языков, хотя, конечно, в данной области остается еще много чего изучить. В противоположность этому, ближайшие перспективы универсальной семантики кажутся гораздо более туманными, хотя, бесспорно, это не является причиной пренебрегать семантическими исследованиями (должен быть сделан, очевидным образом, совершенно противоположный вывод). В действительности, последние работы Катца, Фодора и Посталя, к которым я вернусь в третьем разделе, предлагают, как мне кажется, новые и интересные пути возвращения к этим традиционным вопросам.

Из того факта, что универсальная семантика находится в чрезвычайно неудовлетворительном состоянии, не следует, что мы должны оставить программу построения грамматик, которые соотносят сигналы и семантические интерпретации. Хотя и мало что можно сказать о независимой от языка системе семантической репрезентации, очень многое известно о тех условиях, которым должны удовлетворять семантические репрезентации в некоторых определенных случаях. Введем нейтральное техническое понятие «синтаксического описания», и будем считать синтаксическим описанием предложения (абстрактный) объект

некоторого вида, ассоциируемый с предложением, такой, что он один определяет как его семантическую интерпретацию (последнее понятие остается точно не определенным в ожидании дальнейших продвижений в семантической теории)⁷⁾, так и его фонетическую форму. Частная лингвистическая теория должна определить множество возможных синтаксических описаний для предложений естественного языка. Та степень, до какой эти синтаксические описания удовлетворяют условиям, которые, как мы знаем, должны быть применимы к семантическим интерпретациям, дает оценку успешности и совершенства подобной грамматической теории. По мере того, как развивалась теория порождающей грамматики, понятие синтаксического описания получало разъяснение и распространение. Ниже я хотел бы обсудить некоторые недавние идеи о том, из чего именно должно состоять синтаксическое описание предложения, если теория порождающей грамматики должна стремиться к построению дескриптивно адекватных грамматик.

Заметим, что синтаксическое описание (далее СО) может передавать информацию о предложении и помимо его фонетической формы и семантической интерпретации. Так, мы вправе ожидать, что дескриптивно адекватная грамматика английского языка будет отражать тот факт, что выражения (1)–(3) упорядочены в зависимости от «степени отклонения» от английского, причем независимо от вопроса о том, какие интерпретации могут быть им приписаны [в случае (2) и (3)]:

- (1) *The dog looks terrifying* 'Собака выглядит устрашающей';
- (2) *The dog looks barking* (букв.) 'Собака выглядит лающей';
- (3) *The dog looks lamb* (букв.) 'Собака выглядит ягненком'.

Порождающая грамматика, далее, должна по крайней мере определить соответствие сигналам их СО, а теория порождающей грамматики должна предоставить общую характеристику класса возможных сигналов (теория фонетической репрезентации) и класса возможных СО. Грамматика дескриптивно адекватна настолько, насколько она фактически корректна в различных отношениях, в частности, в той степени, в какой она ставит сигналам в соответствие СО, которые в действительности удовлетворяют эмпирически заданным условиям на поддерживаемые ими семантические интерпретации. Например, если в конкретном языке сигнал имеет две внутренне присущие ему семантические интерпретации [например, (4) или (5) в английском], грамматика этого

⁷⁾ Работая в рамках данного подхода, мы рассматривали бы семантически неоднозначный минимальный элемент как состоящий из двух различных лексических единиц; таким образом, два синтаксических описания могли бы различаться только в том, что они содержат различные члены пары омонимичных морфем. [Тем самым, в данном случае одинаково трактуются полисемия и омонимия. — *Прим. перев.*]

языка приблизится к дескриптивной адекватности, если она припишет предложению два СО, и помимо этого, она приблизится к дескриптивной адекватности в той мере, в какой эти СО будут способны выразить основание для неоднозначности.

- (4) *They don't know how good meat tastes* 'Они не знают, насколько хорошо на вкус мясо' / 'Они не знают, каково хорошее мясо на вкус'⁸⁾.
 (5) *What disturbed John was being disregarded by everyone* 'То, что беспокоило Джона, никто не принимал во внимание' / 'Джона беспокоило то, что никто не принимал его во внимание'⁹⁾.

В случае (4), например, дескриптивно адекватная грамматика должна не только приписать предложению два СО, но должна сделать это таким образом, что в одном из них грамматические отношения между *good* 'хороший', *meat* 'мясо' и *taste* 'вкус; быть каким-либо на вкус' таковы, как в *meat tastes good* 'мясо хорошо на вкус; мясо вкусное'; тогда как в другом они таковы, как в *meat that is good tastes* 'Adjective 'мясо, которое хорошее, имеет такой-то (Прилагательное) вкус' (при этом «грамматическое отношение» должно быть определено общим способом в рамках данной лингвистической теории), что и будет являться основанием альтернативных семантических интерпретаций, которые могут быть приписаны предложению. Аналогично, в случае (5), дескриптивно адекватная грамматика должна приписать паре *disregard-John* 'пренебрегать-Джон' такое же грамматическое отношение, как в *everyone disregards John* 'все пренебрегают Джоном; никто не принимает Джона во внимание', в одном из СО; тогда как в другом она должна приписать то же самое отношение паре *disregard-what (disturbed John)* 'пренебрегать-тем, что (беспокоило Джона)', и не должна приписывать никакого семантически значимого грамматического отношения паре *disregard-John*. С другой стороны, в случае (6) и (7) дескриптивно адекватная грамматика должна приписать только по одному СО. Это СО должно, в случае (6), указывать на то, что *John* 'Джон' относится к *Incompetent* 'некомпетентный' как в *John is incompetent* 'Джон некомпетентен', и что *John* 'Джон' относится к *regard (as incompetent)* 'считать (некомпетентным)' как в *everyone regards John as incompetent* 'все считают Джона

⁸⁾ В данном примере слово *good* 'хороший' может интерпретироваться либо как входящее в состав сложной наречной группы *how good* 'насколько хорошо', либо как определенное в составе именной группы *good meat* 'хорошее мясо'. — Прим. перев.

⁹⁾ В данном примере последовательность *was being disregarded* может интерпретироваться либо как глагольное сказуемое с формой прогрессива прошедшего времени в пассиве *was being disregarded* 'не принималось во внимание', либо как именное сказуемое с бытийным глаголом *was* 'было, являлось' и именной частью *being disregarded* 'состояние, когда кого-либо не принимает во внимание'. — Прим. перев.

некомпетентным'. В случае (7) СО должно указывать, что *our* 'наш' относится к *regard (as incompetent)* 'считать (некомпетентным)', так же, как *us* 'мы' относится к *regard (as incompetent)* 'считать (некомпетентным)' в *everyone regards us as incompetent* 'все считают нас некомпетентными'.

- (6) *What disturbed John was being regarded as incompetent by everyone.* 'Джона беспокоило то, что все считали его некомпетентным'.
 (7) *What disturbed John was our being regarded as incompetent by everyone.* 'Джона беспокоило то, что все считали нас некомпетентным'.

Аналогично, в случае (8) грамматика должна приписать четыре разных СО, каждое из которых устанавливает систему грамматических отношений, которые лежат в основе различных семантических интерпретаций этого предложения:

- (8) *The police were ordered to stop drinking after midnight.* 'Полиции было приказано прекратить пить после полуночи' / 'После полуночи полиции было приказано прекратить пить' / 'Полиции было приказано останавливать пьющих после полуночи' / 'После полуночи полиции было приказано останавливать пьющих'¹⁰.

Подобных примеров должно быть достаточно для иллюстрации того, что включает в себя проблема построения дескриптивно адекватных порождающих грамматик и разработки теории грамматики, которая анализирует и обобщает во всей их полноте понятия, используемые в этих конкретных грамматиках. Из бесчисленных примеров подобного рода совершенно очевидно, что условия, налагаемые на семантические интерпретации, достаточно ясны и многообразны, так что проблема определения понятия «синтаксическое описание» и разработка дескриптивно адекватных грамматик (соотносимых с этим понятием СО) может быть поставлена вполне конкретно, несмотря на то, что само по себе понятие «семантической интерпретации» все еще недоступно глубокому анализу. Мы вернемся к некоторым недавним идеям по поводу семантической интерпретации СО в разделе III.

Грамматика, повторюсь, должна устанавливать соответствие между сигналами и СО. Приписанное сигналу СО должно определять семантическую интерпретацию сигнала некоторым способом, детали которого

¹⁰ В данном примере первое различие интерпретаций связано с тем, что в последовательности *stop drinking* глагольная форма *drinking* может интерпретироваться как заполняющее либо валентность на ситуацию ('прекратить что сделать'), либо валентность прямого дополнения ('останавливать кого') у глагола *stop* 'прекращать; останавливать'. Второе различие связано с тем, что наречная группа *after midnight* 'после полуночи' в каждом из двух случаев может по смыслу относиться как к ситуации «выпивания», так и ко времени, когда полиции был отдан приказ. — Прим. перев.

остаются неясными. Более того, каждое СО должно единственным образом определять тот сигнал, СО которого оно является (однозначно, то есть вплоть до свободного варьирования). Таким образом, СО должно (i) определять семантическую интерпретацию и (ii) определять фонетическую интерпретацию. Определим «глубинную структуру предложения» как ту часть СО, которая обуславливает его семантическую интерпретацию, и «поверхностную структуру предложения» как ту часть СО, которая обуславливает его фонетическую форму. Грамматика, следовательно, должна состоять из трех компонентов: *синтаксического компонента*, который порождает СО, каждая из которых состоит из поверхностной структуры и глубинной структуры; *семантического компонента*, который приписывает семантическую интерпретацию глубинной структуре; *фонологического компонента*, который приписывает фонетическую интерпретацию поверхностной структуре. Таким образом, грамматика в целом будет связывать фонетические репрезентации и семантические интерпретации, как это и требуется, причем эта связь будет осуществляться через посредство синтаксического компонента, порождающего глубинную и поверхностную структуру как элементы СО.

Понятия «глубинной структуры» и «поверхностной структуры» предполагались как разъяснения гумбольдтовских понятий «внутренней формы предложения» и «внешней формы предложения» (общее понятие «формы», вероятно, более правомерно соотносить с понятием самой «порождающей грамматики» — см. обсуждение в [Chomsky 1964]). Эта терминология предложена на основе словоупотребления, привычного в современной аналитической философии (см., например, [Wittgenstein 1953, 168]). Ч. Ф. Хоккетт также использовал данные термины (в [Hockett 1958, ch. 29]) приблизительно в том же смысле.

Существуют веские основания (см. ниже, раздел IV) предполагать, что поверхностная структура предложения представляет собой размеченную скобочную запись, которая членит его на непрерывные составляющие, категоризирует их, членит далее эти составляющие на дальнейшие категоризованные составляющие, и т. п. Так, в основе (6), например, лежит поверхностная структура, которая анализирует это предложение по его составляющим (по-видимому, *what disturbed John* 'то, что беспокоило Джона', *was* 'было', *being regarded as incompetent by everyone* 'то, что все считали его некомпетентным'), приписывая каждую из них к определенной категории, обозначенной разметкой, и затем членя далее на составляющие каждую из них (по-видимому, например, *what disturbed John* 'то, что беспокоило Джона' на *what* 'что' и *disturbed John* 'беспокоило Джона'), при этом каждая из них приписывается к категории, обозначенной разметкой, и т. п., пока не будет достигнут уровень конечных составляющих. Информации такого рода,

в действительности, достаточно для определения фонетической репрезентации этого предложения. Размеченная скобочная запись может быть представлена в виде дерева или какого-либо другого из известных способов обозначения.

Ясно, однако, что глубинная структура должна быть совершенно отличной от поверхностной структуры. В первую очередь, поверхностная репрезентация никоим образом не выражает те грамматические отношения, которые, как мы только что наблюдали, являются определяющими для семантической интерпретации. Во-вторых, в случае неоднозначного предложения, как, например, (5), приписана может быть только одна единственная поверхностная структура, но глубинные структуры должны, очевидным образом, различаться. Подобных примеров достаточно для того, чтобы показать, что лежащая в основе предложения глубинная структура не может быть всего лишь его размеченной скобочной записью. Поскольку существуют веские основания, что поверхностная структура предложения должна, в действительности, представлять собой просто размеченную скобочную запись, мы заключаем, что глубинные структуры не могут отождествляться с поверхностными структурами. Неспособность поверхностных структур обозначить семантически значимые грамматические отношения (т. е. служить и глубинной структурой) является фундаментальным фактом, мотивирующим разработку трансформационной порождающей грамматики как в ее классическом, так и в современном вариантах.

Итак, полная порождающая грамматика должна состоять из синтаксического, семантического и фонологического компонента. Синтаксический компонент порождает СО, каждое из которых включает в себя глубинную структуру и поверхностную структуру. Семантический компонент приписывает семантическую интерпретацию глубинной структуре, а фонологический компонент приписывает фонетическую интерпретацию поверхностной структуре. Неоднозначное предложение имеет несколько СО, различных по содержащимся в них глубинным структурам (хотя обратное не обязательно верно).

До сих пор я сказал мало такого, что было бы в чем-либо спорным. Пока в ходе обсуждения всего лишь была определена некоторая область интереса и определенный класс задач, и был предложен естественный подход для разрешения этих задач. Единственные существенные пояснения (т. е. фактические утверждения), которые я пока сделал в рамках данного подхода, состоят в том, что поверхностная структура представляет собой размеченную скобочную запись, и что глубинные структуры должны в общем случае отличаться от поверхностных. Первое из этих утверждений хорошо обосновано (см. ниже), и, вероятно, будет широко

признано. Второе же, несомненно, слишком очевидно, чтобы требовать его развернутой защиты.

Следуя далее с целью создания подлинной лингвистической теории, мы должны разработать:

- (9) (i) теории фонетической и семантической репрезентации
- (ii) общую характеристику понятия «синтаксического описания»
- (iii) определение класса потенциальных порождающих грамматик
- (iv) общую характеристику того, как действуют эти грамматики, то есть как они порождают СО и приписывают им фонетические и семантические интерпретации, тем самым ставя в соответствие фонетически представленные сигналы и семантические интерпретации.

Прежде чем перейти к обсуждению этих существенных вопросов, уверимся в бесспорном характере изложенного выше. Существует ли, в действительности, в этом подходе что-нибудь такое, против чего можно было бы возразить? Разумеется, невозможно поставить под вопрос необходимость различать компетенцию и употребление так, как это было предложено выше. Сделав это различие, можно на выбор интересоваться или нет общим вопросом изучения языковой компетенции. Если кто-то предпочитает заняться этим вопросом, ему придется сразу же столкнуться с явлением «творчества» (creativity) и он должен, следовательно, сконцентрировать внимание на задаче построения порождающих грамматик. Трудно понять, как иначе можно в конечном итоге представить полную порождающую грамматику, если не в виде системы правил, которые соотносят сигналы с семантическими интерпретациями; а определив эту цель, придется сразу же столкнуться с задачей разработки достаточно мощного (rich) понятия «синтаксического описания» для поддержки фонетической интерпретации, с одной стороны, и семантической интерпретации, с другой. Различие между глубинной и поверхностной структурой возникает уже из самого поверхностного обследования реального языкового материала. Отсюда намеченные выше выводы кажутся неизбежными, если ставится задача изучения языковой компетенции. Заметим, что подлинная лингвистическая теория включает в себя определение (9iv) так же, как (9iii). Например, существенной частью теории грамматики составляющих является подробная спецификация того, как определяются категории и отношения для порождаемых цепочек (см. {Chomsky 1955, ch. VI}), и подобная спецификация предполагалась всегда, когда бы ни разрабатывалась данная теория. Изменение в этой спецификации есть в той же мере пересмотр теории, в какой и изменение класса (9iii) потенциальных грамматик.

Неспособность понять это немедленно ведет к бессмыслице. Так, если кто-нибудь представляет себе теорию «структуры составляющих» без способа интерпретации (9iv), то можно легко доказать, что грамматика составляющих языка L приписывает предложениям L структурные описания, приписываемые некоторой трансформационной грамматикой L, и т. п. Этот вопрос должен быть очевиден без дальнейшего обсуждения.

Предположим, что кто-то выбирает не изучать языковую компетенцию (и, соответственно, языковое употребление в рамках теории компетенции). Можно было бы, в качестве альтернативы, ограничить свое внимание употреблением, или поверхностными структурами, или звуковыми моделями (sound patterns) в отрыве от синтаксической структуры, или звонкими фрикативными, или первыми частями предложений. Единственный вопрос, который возникает, если принимается одно из этих предложений, — насколько вероятно получить какой-либо интересный результат при столь произвольном ограничении предмета исследования? В каждом из названных случаев это кажется весьма маловероятным. В целом, неясно, почему кто-либо должен настаивать на изучении одного изолированного аспекта общей проблемы грамматического описания, если только нет какой-либо причины полагать, что на него никак не воздействуют другие аспекты грамматики¹¹⁾.

¹¹⁾ Вероятно, данный вопрос можно разъяснить, рассмотрев примеры следующего рода. Так, например, вполне разумно изучать семантику в отрыве от фонологии или фонологию в отрыве от семантики, поскольку, как кажется на данный момент, между системой фонологической и семантической интерпретации отсутствует какое-либо не-тривиальное соотношение, и семантические соображения не могут играть какой-либо значимой роли в фонологии, а фонологические соображения — в семантике. Аналогично, кажется вполне обоснованным разрабатывать теорию синтаксической структуры без каких-либо исходных понятий сугубо семантической природы, поскольку, на данный момент, нет причин полагать, что априорные семантические концепты играют какую-либо роль в определении организации синтаксического компонента грамматики. С другой стороны, было бы абсурдно изучать семантику (и аналогично, как мне кажется, фонологию) в отрыве от синтаксиса, поскольку синтаксическая интерпретация предложения (и аналогично, его фонетическая интерпретация) существенным образом зависит от его глубинной (и, соответственно, поверхностной) структуры. И было бы абсурдно разрабатывать общую синтаксическую теорию без приписывания абсолютной решающей роли семантическим соображениям, поскольку, очевидно, необходимость обеспечивать семантическую интерпретацию является одним из основных требований, которым должны удовлетворять структуры, порожденные синтаксическим компонентом грамматики. Обсуждение данных вопросов см. в [Chomsky 1957; 1964; Lees 1957; Katz, Postal 1964] и многих других публикациях.

Обсуждению этих вопросов в современной лингвистике уделялось слишком мало внимания. В результате по поводу них возникло немало путаницы, а многие догматические утверждения провозглашались и неоднократно повторялись без какой-либо попытки доказать или подкрепить их серьезными аргументами. Эти проблемы важны; пока на какой-либо их этих вопросов не может быть с уверенностью дан ответ, неопре-

До сих пор я обсуждал только вопрос дескриптивной адекватности грамматик и проблему разработки лингвистической теории, которая послужит основой для создания дескриптивно адекватных грамматик. Однако, как неоднократно подчеркивалось (см. [Chomsky 1957; 1962b; 1964; 1965]), задачи лингвистической теории могут ставиться гораздо выше, и, в действительности, предпосылкой даже для изучения дескриптивной адекватности является то, что они стоят выше. Немаловажно также поднять вопрос об «объяснительной адекватности» лингвистической теории. Сущность данного вопроса можно легко оценить в терминах проблемы построения гипотетического устройства усвоения языка (language-acquisition device) AD, которое способно производить на «выходе» дескриптивно адекватную грамматику G для языка L на основе некоторых первичных языковых данных из L в качестве входа; то есть устройства, представленного схематически в (10):

(10) первичные языковые данные \rightarrow AD \rightarrow G

Естественно, мы хотим, чтобы устройство AD было независимым от языка — то есть способно выучить любой из человеческих языков и только их. Другими словами, мы хотим, чтобы оно в неявном виде предоставляло определение понятия «человеческий язык». Если бы мы могли разработать спецификацию подобного устройства усвоения языка, мы могли бы с основанием утверждать, что способны предоставить объяснение языковой интуиции — скрытой (tacit) компетенции — говорящего на языке. Это объяснение было бы основано на допущении, что спецификация устройства AD дает основу для усвоения языка, при том, что первичные языковые данные из некоторого языка предоставляют эмпирические условия, в которых происходит разработка порождающей грамматики. Трудности разработки эмпирически адекватной и независимой от языка спецификации AD слишком очевидны, чтобы требовать развернутой дискуссии; жизненная важность постановки данной проблемы и ее интенсивного изучения на каждом этапе лингвистического исследования также, как мне кажется, находятся за пределами самой возможности обсуждения (о развитии данного вопроса см. приведенные выше ссылки).

Для того, чтобы провести исследование объяснительной адекватности, мы можем пойти двумя параллельными путями. Во-первых, мы должны попытаться предоставить настолько узкую спецификацию перечисленных в (9) аспектов лингвистической теории, насколько это совместимо с известным разнообразием языков — мы должны, другим

деленная позиция, которую занимает лингвист, может иметь важное влияние на характер выполняемой им работы.

словами, разработать настолько мощную гипотезу относительно языковых универсалий, насколько это может быть поддержано доступными данными. Эта спецификация может затем быть приписана системе AD в качестве ее неотъемлемого свойства. Во-вторых, мы можем попытаться разработать общую процедуру оценки, в качестве неотъемлемого свойства AD, которая позволит этой системе выбирать определенного представителя из класса грамматик, удовлетворяющих спецификациям (9) на основе представленных первичных языковых данных (или, предположительно, выбирать небольшое множество альтернатив, хотя эта абстрактная возможность вряд ли заслуживает обсуждения в настоящее время). Эта процедура затем позволит устройству выбрать одну из априорно возможных гипотез — одну из разрешенных грамматик, — которая совместима с эмпирическими данными из заданного языка. Выбрав такую гипотезу, устройство «овладело» языком, описанным данной грамматикой (и, тем самым, оно знает гораздо больше, нежели оно «выучило» явным образом). Имея лингвистическую теорию, которая определяет (9), и процедуру оценки, мы можем объяснить какой-либо из аспектов компетенции говорящего в случае, если сможем с некоторым правдоподобием показать, что данный аспект его компетенции обусловлен наиболее высоко оцененной из допустимых грамматик, которая совместима с данными того рода, которые были ему представлены.

Заметим, что процедура оценки (мера простоты (*simplicity measure*), как ее зачастую именуют в специальных работах) сама по себе является эмпирической гипотезой относительно универсальных свойств языка; иными словами, это гипотеза, истинная или ложная, о предпосылках для усвоения языка. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, мы должны рассмотреть свидетельства касающиеся фактического отношения между первичными языковыми данными и дескриптивно адекватными грамматиками. Мы должны задаться вопросом, действительно ли предложенная процедура оценки может служить посредником для этого эмпирически данного отношения. Процедура оценки, тем самым, имеет во многом статус физической константы; в частности, невозможно поддержать или отвергнуть вносимое предложение на основе некоторого априорного довода.

Опять же, необходимо понять, что нет ничего спорного в том, что только что было сказано. Можно на выбор иметь или не иметь дело с проблемой объяснительной адекватности. Тот, кто предпочтет проигнорировать эту проблему, может обнаружить (и, по моему мнению, это непременно произойдет), что он исключил из рассмотрения один из наиболее важных источников свидетельства по тем проблемам, кото-

рые остаются (в частности, проблема дескриптивной адекватности)¹². Его положение тогда может быть совершенно аналогично положению человека, который решил ограничить свое внимание поверхностными структурами (при исключении глубинных структур) или первыми частями предложений. Он должен показать, что ограничение области интересов оставляет ему некоторый достойный внимания объект изучения. Но, в любом случае, у него, конечно же, нет оснований возражать против попытки других лингвистов изучать тот общий вопрос, в котором он (по моему мнению, искусственно) выделял только одну грань.

Я надеюсь, что этих заметок будет достаточно для того, чтобы показать полную беспредметность многих из тех споров о конкретных процедурах оценки (мерах простоты), которые предлагались в качестве эмпирических гипотез относительно формы языка в ходе работы в рамках порождающей грамматики. В качестве одного из примеров рассмотрим критику Хаусхолдера [Householder 1965] по поводу некоторых предложений Халле относительно подходящей процедуры оценки для фонологии. Халле представил определенную теорию фонологических процессов, включающую, в качестве существенной части, некоторую эмпирическую гипотезу относительно меры простоты. Решающим аспектом данной теории была ее опора исключительно на различительные признаки в формулировке фонологических правил, при исключении какой-либо «сегментной» нотации (например, фонемной нотации), кроме как в качестве неформального способа пояснения. Его мера оценки включала в себя минимизацию признаков в лексиконе и фонологических правилах. В поддержку данной теории он показал, что множество фактов при этих допущениях может быть объяснено. Халле обсуждал также альтернативные теории, которые используют сегментную нотацию наряду с или вместо признакововой нотации, и привел несколько доводов, чтобы показать, что при этих допущениях трудно

¹² Причина этого крайне проста. Выбор дескриптивно адекватной грамматики для языка L всегда во многом недостаточно определен (имеется в виду, для лингвиста) данными из L. Другие релевантные данные могут быть привнесены путем изучения дескриптивно адекватных грамматик других языков, но лишь в случае, если у лингвиста есть объяснительная теория только что описанного типа. Такая теория может получить эмпирическую поддержку в случае, если она производит дескриптивно адекватные грамматики для других языков. Более того, она заранее предписывает форму грамматики L и процедуру оценки, которая ведет к выбору этой грамматики, при наличии данных. Таким образом, она позволяет данным из других языков играть роль в подтверждении грамматики, выбранной в качестве эмпирической гипотезы относительно говорящих на L. Такой подход вполне естественен. Следуя ему, лингвист приходит к выводу относительно говорящих на L на основе подтвержденного независимо предположения о природе языка в целом — то есть, предположения относительно той общей «*essence de langage*», которая делает возможным усвоение языка.

представить себе, как может быть сформулирована эмпирически надежная мера оценки — в частности, он показал, как различные достаточно естественные средства, включающие минимизацию, оказываются неадекватными на эмпирических основаниях.

Хаусхолдер не делает попытки опровергнуть эти доводы, но просто отвергает их, поскольку они не удовлетворяют некоторым априорным условиям, которые он произвольным образом налагает на любое понятие «процедуры оценки», — в частности, требование, согласно которому такая процедура должна благоприятствовать грамматикам, которые используют меньшее число символов и которые лингвисту легче читать. Поскольку грамматики, предлагаемые Халле, с их последовательной опорой на признаковое представление, требуют больше символов, чем грамматики, использующие вспомогательные символы в качестве сокращений для множеств признаков, и поскольку грамматики Халле (как утверждает Хаусхолдер) трудно читать, он заключает, что теория, на которой они основаны, должна быть ошибочной. Но, очевидно, априорные доводы подобного рода не имеют отношения к эмпирической гипотезе о природе языка (т. е. о структуре общего механизма усвоения языка, как он описан выше). Следовательно, критика Хаусхолдера не имеет никакого значения для каких-либо из обсуждаемых Халле вопросов. К сожалению, значительная доля критики в недавних попытках разработать действенные меры оценки основана на сходных допущениях.

Заметим, между прочим, что существует один интересный, но плохо понимаемый смысл; в его рамках можно говорить о «простоте», «изяществе» или «естественности» теории (языка, химической связи и т. п.), однако «абсолютный» смысл простоты не имеет какого-либо явного значения для попыток разработать меру оценки (меру простоты) как часть теории грамматики. Подобная теория является эмпирической гипотезой, истинной или ложной, предложенной для объяснения некоторой области языковых фактов. Та «мера простоты», которую она содержит, является составной частью этой эмпирической гипотезы. Различие между «простотой» как абсолютным понятием общей эпистемологии и «простотой» как частью теории грамматики неоднократно подчеркивалось; путаница относительно этого вопроса остается, тем не менее, довольно распространенной. Неспособность провести это различие делает недействительной большую часть критики оценочных процедур, которая появлялась в последние годы.

(b) Теория трансформационной порождающей грамматики

Рассмотрев первые две части из предварительного плана, который был дан во вступительном разделе, я бы хотел теперь обратиться, гораздо более кратко, к третьей, четвертой и пятой частям. Они обсуждаются гораздо подробнее в [Chomsky 1965], а также в работах, на которые там даются ссылки.

В наиболее ранних версиях трансформационной порождающей грамматики принимались следующие основные положения относительно синтаксической структуры. Синтаксический компонент грамматики состоит из двух типов правил: правил переписывания (*rewriting rules*) и трансформационных правил (*transformational rules*). Правила переписывания задают грамматику составляющих (возможно, с указанием условия линейного расположения). Каждое правило имеет, другими словами, вид $A \rightarrow X$ (с возможным ограничением на контекст Z_W), где A это категориальный символ, а X , Z , W это цепочки категориальных или терминальных символов. Цепочки, порождаемые этими правилами, мы можем назвать *базовыми цепочками* (альтернативный термин — *S-терминальные цепочки*). В ходе порождения цепочки система правил переписывания (назовем ее *базовым компонентом* синтаксиса) приписывает ей показатель структуры составляющих (*phrase-marker*), который можно назвать *базовым показателем структуры составляющих*, представимым в виде размеченной скобочной записи или древесной диаграммы, в которой узлы помечаются категориями.

Трансформационные правила отображают НС-показатели в новые, производные НС-показатели. Каждое трансформационное правило определяется *структурным анализом*, налагающим условие на класс НС-показателей, к которому оно применяется и специфицирующим анализ терминальной цепочки данного НС-показателя на следующие друг за другом части. Спецификация трансформации завершается при связывании с этим структурным анализом некоторой *элементарной трансформации*, которая является формальной операцией на цепочках некоторого ограниченного класса. Более подробно см. в указанных выше источниках. Определяя «произведение» двух НС-показателей как новый НС-показатель, полученный фактически в результате конкатена-

ции размеченных скобочных записей¹³⁾, мы можем применить то, что было названо *обобщенными* трансформациями (или трансформациями *двойной базы*, *тройной базы* и т. п.) к НС-показателю, представляющему собой последовательность НС-показателей, сопоставляя данному произведению новый НС-показатель, применяя тот же аппарат, который необходим в одинарном случае. Существуют определенные условия на порядок применения трансформаций (к ним я вернусь ниже), которые должны быть указаны в отдельной части грамматики. Эти условия включают спецификацию определенной трансформации в качестве *обязательной* либо *необязательной* по отношению к определенной последовательности трансформаций. Чтобы породить предложение, мы выбираем последовательность из (одного или более) базовых НС-показателей и применяем к ним одинарные (*singularly*) и обобщенные (*generalized*) трансформации, принимая во внимание требования порядка и обязательности, пока результатом не станет единственный НС-показатель, над которым доминирует S (*начальная категория* (*initial category*)), представляющая «предложение» (*sentence*)). Если мы выбираем единственный базовый НС-показатель и применяем только обязательные трансформации, будем называть итоговое предложение *ядерным предложением* (*kernel sentence*) (ядерное предложение не стоит смешивать с базовой цепочкой, которая лежит в ее основе, равно как и в основе многих других более сложных предложений).

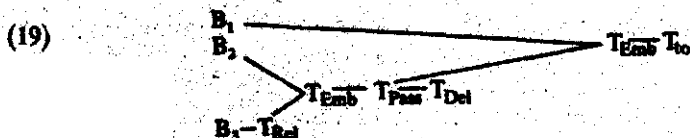
Мы можем представить систему трансформаций, применяемых в процессе деривации, в виде трансформационного показателя (Т-показателя). В качестве иллюстрации рассмотрим предложение:

- (18) *I expected the man who quit the work to be fired.* 'Я ожидал, что человек, который бросил работу, будет уволен.'

Трансформационная деривация предложения (18) может быть представлена в виде Т-показателя (19). В данном представлении V_1 , V_2 и V_3 — это три базовых НС-показателя, которые лежат в основе (ядерных) предложений (20i)–(20iii)¹⁴⁾:

¹³⁾ Точные определения упомянутых здесь понятий представлены в [Chomsky 1955], а ряд в различной степени неформальных описаний можно найти в литературе. В частности, показатель структуры составляющих может быть представлен в виде множества цепочек, а «произведение» двух показателей структуры составляющих в таком случае является сложным продуктом двух множеств (т. е. множеством всех цепочек XY таких, что X взят из первого множества, а Y — из второго).

¹⁴⁾ Поскольку я предлагаю это лишь в качестве основы для тех изменений, о которых речь пойдет ниже, я опускаю многие подробности. В частности, я полностью игнорирую вопрос о том, как описывать систему вспомогательных глаголов, и я также предполагаю, для простоты изложения, что каждый из элементов V_1 – V_3 лежит в основе ядерных предложений. В действительности, это не является необходимым, и в трансформационных



- (20)
- (i) *I expected it* 'я ожидал этого'
 - (ii) *someone fired the man* 'кто-то уволил человека'
 - (iii) *the man quit work* 'человек бросил работу'

Интерпретация (19) проста. Она отражает тот факт, что для того, чтобы получить (18), мы берем три базовые структуры, лежащие в основе (20i-iii), и поступаем далее следующим образом. Во-первых, применим к B_3 трансформацию относительного предложения (relative transformation) T_{Rel} , которая преобразует его в *who (the man) quit work* 'который (человек) бросил работу' (точнее, в абстрактную цепочку, лежащую в основе этой последовательности, см. примечание 2), с его производным НС-показателем. Назовем эту новую структуру K_1 . Теперь применим обобщенную трансформацию вложения (embedding transformation) T_{Emb} к паре структур (B_2, K_1) , в процессе чего во вложенном предложении *the man* 'человек' будет стерто, и в результате получится цепочка *someone fired the man who quit work* 'кто-то уволил человека, который бросил работу' с его производным НС-показателем K_2 . Применим к K_2 трансформацию пассива (passive transformation) T_{Pass} , что дает *the man who quit work was fired by someone* 'человек, который бросил работу, был кем-то уволен' с НС-показателем K_3 . К результату применим трансформацию опущения (deletion transformation) T_{Del} , что дает *the man who quit work was fired* 'человек, который бросил работу, был уволен' с производным НС-показателем K_4 . Теперь применим к паре структур (B_1, K_4) обобщенную трансформацию вложения T_{Emb} , которая дает *I expected the man who quit work was fired* 'Я ожидал, что

грамматиках, представленных в [Chomsky 1955; 1957; 1962a; Lees 1960] и др., многие базовые цепочки содержат «фиктивные (dummy) символы», которые либо удаляются, либо заполняются тем или иным способом в ходе преобразования предложений. Так, B_1 могло бы содержать пустой символ в качестве дополнения, B_2 могло бы содержать неопределенное подлежащее и т. п.

Я также принимаю здесь упрощенный анализ главной (матричной) структуры по сравнению с тем, который постулировался в более ранних работах. Основания для этого выходят далеко за рамки того, о чем идет речь здесь. См. [Rosenbaum 1965] и дальнейшее связанное с этим обсуждение в [Chomsky 1965, ch. 1, § 4].

Описывая эти структуры, я привожу в качестве примера предложения, что некорректно, вместо абстрактных цепочек, лежащих в их основе. Следует помнить, что это не более чем иллюстративный прием.

человек, который бросил работу, был уволен' с производным НС-показателем. Применим к K_5 одинарную трансформацию T_{10} , которая и дает предложение (18) с производным НС-показателем K_6 .

Я еще раз подчеркиваю, что только после того, как были завершены все трансформации, мы получаем реальное «предложение» — т. е. цепочку элементов, которая представляет собой «выход» для синтаксического компонента грамматики и «вход» для фонологического компонента.

Вероятно, данного примера достаточно для того, чтобы передать содержание понятия «Т-показатель» (подробнее см. [Chomsky 1955; Katz and Postal 1964]). Из этого должно быть понятно, каким образом любая трансформационная деривация может быть представлена в виде Т-показателя, дающего полную «трансформационную историю» производного предложения, включая, в частности, спецификацию базовых НС-показателей, из которых оно произведено. В работе [Chomsky 1955] общая теория языковых уровней разрабатывается абстрактным и единообразным способом, при этом структура составляющих и трансформации представляют собой два отдельных языковых уровня. На каждом уровне создаются показатели, которые представляют предложение. В частности, производные НС-показатели и Т-показатели выполняют эту функцию на уровне структуры составляющих и трансформационном уровне, соответственно. Каждый уровень — это система репрезентаций в терминах определенных примитивов (primes) (элементарных атомарных символов данного уровня). На уровне структуры составляющих примитивы — это категории и терминальные символы. На уровне трансформаций примитивы — это базовые НС-показатели и трансформации. Показатель — это цепочка примитивов или множество таких цепочек. В таком виде могут быть представлены как показатели структуры составляющих, так и трансформационные показатели. Уровни организованы иерархически, показатели каждого уровня можно рассматривать как отображающиеся в показателях последующих нижних уровней и как представляющие показатель самого нижнего уровня (т. е. фонетическую репрезентацию, которая является показателем на самом нижнем, фонетическом, уровне — примитивы этого уровня являются множествами признаков), который напрямую ассоциирован с имеющим место сигналом. Здесь мы ограничиваем обсуждение уровнями структуры составляющих и трансформационной структуры.

Общее требование к синтаксической теории состоит в том, что она определяет понятия «глубинной структуры» и «поверхностной структуры», представляющие собой входы к семантическому и фонологическому компонентам грамматики, соответственно (см. выше), и точно устанавливает, каким образом синтаксическое описание, состоящее

из глубинной и поверхностной структур, порождается синтаксическими правилами. В теории, которая была обрисована выше, эти требования соблюдаются следующим образом. Правила переписывания базового компонента и правила, устанавливающие порядок и расположение трансформаций, порождают бесконечный класс Т-показателей тем способом, который был только что охарактеризован. Примем Т-показатель за глубинную структуру; примем производный НС-показатель, который является конечным выходом операций, представленных в Т-показателе, за поверхностную структуру. Так, в случае (18) глубинной структурой является Т-показатель, представленный в (19), а поверхностной структурой — то, что мы обозначили как K_4 . НС-показатель K_4 должен, следовательно, содержать всю информацию, релевантную для определения формы сигнала, соответствующего (18) (т. е. он должен быть отображен в фонетическое представление (18) по правилам фонологического компонента); а Т-показатель (19) должен содержать всю информацию, релевантную для семантической интерпретации (18).

Для завершения теории мы должны добавить описания фонологического и семантического компонентов, которые интерпретируют поверхностную и глубинную структуры, соответственно. Фонологический компонент будет кратко обсужден в четвертом разделе, в соответствии с направлением, развиваемым в [Jakobson, Fant and Halle 1952; Chomsky, Halle and Lukoff 1956; Halle 1959; 1962; 1964; Chomsky 1962b] и других связанных с ними публикациях. Теория семантической интерпретации находится в гораздо менее разработанном состоянии, как было указано выше, хотя недавние работы Катца, Фодора и Постала были весьма вдохновляющими и, как мы сейчас покажем, имели важные последствия также и для теории синтаксиса.

Теория семантической интерпретации, основанная на обрисованной выше синтаксической модели, должна предоставлять, во-первых, характеристику понятия «семантическая интерпретация предложения», и во-вторых, систему правил для приписывания данного объекта глубинной структуре, то есть Т-показателю. Аналогично, теория фонетической интерпретации должна определять понятие «фонетический интерпретации предложения» — другими словами, она должна определять универсальный фонетический алфавит — и предоставлять систему правил для приписывания данного объекта поверхностной структуре, то есть конечному производному НС-показателю предложения. Понятие «семантической интерпретации предложения» остается на данный момент в достаточно примитивном состоянии. Несколько важных шагов было, однако, предпринято по направлению к изучению правил, которые приписывают семантические интерпретации глубинным структурам.

Прежде всего, очевидно, что грамматические отношения между элементами цепочки, представляющей предложение, и грамматические функции (например, подлежащее, дополнение и пр.), которые выполняют эти элементы, предоставляют информацию, которая является фундаментальной для семантической интерпретации. Более того, с начала недавней работы над трансформационной грамматикой было очевидно, что именно грамматические отношения и грамматические функции, представленные в базовых НС-показателях, лежащих в основе предложения, являются решающими для его семантической интерпретации (например, в некотором смысле не «грамматический субъект» пассива, а скорее его «логический субъект» релевантен для семантической интерпретации). Это очевидно из рассмотрения примеров, обсуждавшихся в ходе данной работы. Такие примеры были выбраны прежде всего для иллюстрации данного факта, что характерно в целом для разъяснительных работ по трансформационной грамматике. Как было подчеркнуто выше, именно примеры грамматических отношений и функций, которые затемняются в поверхностной репрезентации (в анализе по НС) предоставляют важнейшую мотивацию для отрицания всех версий таксономического синтаксиса и для разработки теории трансформационной грамматики.

Насколько мне известно, первое достаточно эксплицитное обсуждение грамматических отношений в глубинной структуре, которые не представлены в реальной материальной форме и организации предложения, и первое общее обсуждение их важности для семантического представления содержится в *Grammaire générale et raisonnée*¹⁵⁾ Пор-Рояля (1660). Краткое упоминание см. в [Chomsky 1964: § 1], а дальнейшее обсуждение в [Chomsky 1966]. В современной лингвистике та же идея была высказана Харрисом, в несколько иных терминах, в его ранней работе по трансформациям¹⁶⁾, и данное обстоятельство подчеркивается также в [Chomsky 1955; 1957] и всех последующих работах по трансформационной грамматике.

Чтобы продвинуться дальше этого наблюдения, необходимо определить грамматические отношения и грамматические функции и показать, как отношения и функции базовых НС-показателей играют свою роль в определении семантической интерпретации предложения, в основе которого они лежат. Грамматика составляющих — это, в действительности, очень естественный механизм приписывания системы грамматических отношений и функций порождаемой цепочке. Эти по-

¹⁵⁾ «Грамматика общая и рациональная» (фр.), см. рус. пер. [Арно, Лансло 1990; 1991; 1998]. — Прим. перев.

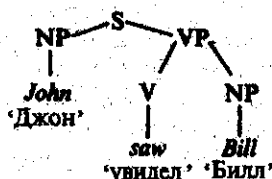
¹⁶⁾ Например, [Harris 1952; 1954; 1957].

нения представлены непосредственно в НС-показателе, приписанном цепочке, которая порождена данными правилами, на что неоднократно указывалось. Различные способы определения этих понятий обсуждаются в [Chomsky 1955; 1964; 1965] и [Postal 1964]. Для большей конкретности, рассмотрим весьма упрощенную грамматику составляющих с правилами (21)¹⁷⁾:

(21)

S → NP VP
 VP → V NP
 NP → John 'Джон', Bill 'Билл'
 V → saw 'увидел'

(22)



'Джон увидел Билла'

С грамматическим правилом $A \rightarrow XBY$ мы можем ассоциировать грамматическую функцию $[B, A]$. Так, мы имеем грамматические функции $[NP, S]$, $[VP, S]$, $[V, VP]$, $[NP, VP]$, ассоциированные с правилами (21). Мы можем дать им конвенциональные названия *Подлежащее* (*Subject-of*), *Сказуемое* (*Predicate-of*), *Главный глагол* (*Main-Verb-of*), *Дополнение* (*Object-of*), соответственно. Далее, используя очевидные определения этих понятий, мы можем сказать, что по отношению к НС-показателю (22) *John* 'Джон' — это подлежащее предложения, *saw Bill* 'увидел Билла' — это сказуемое предложения, *saw* 'увидел' — это главный глагол глагольной группы, а *Bill* 'Билл' — это дополнение глагольной группы. Можно продолжить определять грамматические отношения (Подлежащее-Глагол и пр.) в терминах этих и других понятий, и существуют различные способы, которыми можно попытаться сформулировать независимые от конкретного языка определения центральных понятий (подробности см. в указанных ссылках). Важное обстоятельство состоит в том, что грамматика составляющих не нуждается ни в каком дополнении для того, чтобы она приписывала данные свойства порождаемым ей цепочкам. Как только мы понимаем относительный характер этих понятий, мы тут же видим, что они уже

¹⁷⁾ Здесь S — предложение, NP — именная группа, VP — глагольная группа, V — глагол. — Прим. перев.

приписываются так, как это необходимо, без какого-либо дальнейшего совершенствования правил.

Заметим, что мы могли бы определить грамматические функции не в терминах порождающих правил, а, вполне очевидным способом, в терминах самого НС-показателя. Если мы это сделаем, у нас появится более общее понятие «грамматической функции», которое будет применимо как к производным НС-показателям, так и к базовым НС-показателям. Я не буду здесь вдаваться в подробности этого, поскольку, в любом случае, только функции в базовом НС-показателе значимы для семантической интерпретации (но см. в [Chomsky 1965: 220, 221] небольшое обсуждение роли «поверхностных функций», определенных таким образом).

Первая попытка разработать теорию семантической интерпретации как интегральную часть эксплицитной (т. е. порождающей) грамматики содержится в [Katz and Fodor 1963]. Это первое исследование, которое заходит дальше утверждения о том, что базовые НС-показатели, лежащие в основе предложения, являются, в некотором смысле, базовыми содержательными элементами, которые определяют его семантическую интерпретацию. Опираясь на тот подход к синтаксической структуре, который был обрисован выше, Катц и Фодор доказывают, что семантический компонент грамматики должен быть чисто интерпретирующей (interpretive) системой правил, которая отображает глубинную структуру (Т-показатель) в семантической интерпретации, используя в данном процессе три типа информации: (i) внутренние (intrinsic) семантические признаки лексических единиц; (ii) грамматические функции, определенные базовыми правилами; (iii) структуру Т-показателя. Семантический компонент должен обладать двумя типами «правил проекции» ('projection rules'). Первый тип приписывает семантические интерпретации («прочтения») категориям базовых НС-показателей в терминах прочтений, ранее приписанных элементам, над которыми доминируют эти категории (которые принадлежат этим категориям), начиная с внутренних прочтений лексических единиц, и используя грамматические функции, определенные конфигурациями базовых НС-показателей для установления того, как приписываются прочтения на высших уровнях; и, наконец, приписывается прочтение доминирующей категории S. Правила проекции второго типа используют прочтения, приписанные таким образом базовым НС-показателям, и, в терминах элементов и конфигураций, представленных в Т-показателе, определяют семантическую интерпретацию всего предложения. Мало что сказано о правилах второго типа; как мы увидим ниже, это не является серьезным пробелом в данной теории.

Этим кратким очерком мы завершаем третью часть плана из вступительного раздела, обрисовав некоторую теорию порождающей грамматики, которая частично преодолевает фундаментальную неспособность таксономического синтаксиса дать адекватное понятие глубинной структуры.

Обращаясь теперь к четвертой части плана, я бы хотел рассмотреть некоторые из недостатков, которые были обнаружены в только что обрисованной теории в процессе ее применения к языковому материалу.

В [Lees 1960] показано, что трансформация отрицания (negation transformation) в работах [Chomsky 1957; 1962a] сформулирована некорректно. Он показывает, что существуют синтаксические аргументы в пользу альтернативной формулировки, в которой отрицательный элемент не вводится трансформацией, но является скорее факультативным элементом, вводимым правилами переписывания базы, так что трансформация служит просто для его расположения в надлежащей позиции в предложении. Приблизительно в то же время Э. С. Клима указал, что то же самое верно и для трансформации вопроса (question transformation) в работах [Chomsky 1957; 1962a]. Имеются синтаксические аргументы в пользу того, чтобы рассматривать абстрактный «вопросительный показатель» в качестве элемента, вводимого базовыми правилами, и тогда наличие данного показателя будет условием вопросительной трансформации (обязательной, когда он появляется в цепочке, и неприменимой в противном случае). Дополнительные аргументы в поддержку этой точки зрения и ее дальнейшее обсуждение представлены в [Katz and Postal 1964]. См. также [Klima 1964].

В [Katz and Postal 1964], кроме того, отмечается, что то же самое верно для трансформации императива (imperative transformation) из ранних работ. В свете этого и других замечаний, Katz и Postal далее заключают, что все одинарные трансформации, которые воздействуют на значение, обусловлены наличием показателей подобного типа. Другими словами, правила семантического компонента не должны ссылаться на одинарные трансформации как таковые, поскольку каков бы ни был их вклад в семантику предложения, он может рассматриваться как внутреннее свойство показателя, определяющего применимость трансформаций, и следовательно, может быть обработан в базовых структурах по правилам проекции первого типа. Отсюда далее следует, что функция правил проекции второго типа является гораздо более ограниченной, нежели Katz и Фодор были вынуждены допустить, поскольку они не должны принимать во внимание наличие одинарных трансформаций в T-показателе.

Обращаясь теперь к обобщающим трансформациям, Katz и Postal проводят детальный анализ многих описанных в ранних работах при-

меров, которые, как представляется, демонстрируют вклад обобщенных трансформаций в семантическую интерпретацию порождаемого предложения, причем некоторым способом, выходящим за рамки чистого «слияния». Они настаивают (как мне кажется, вполне убедительно) на том, что в каждом подобном случае существуют синтаксические основания для того, чтобы признать данное описание ошибочным; более того, единственная функция обобщенных трансформаций заключается в том, чтобы вставить трансформ предложения в позицию, которая уже имеется в лежащей в основе структуре (скажем, в виде наличия фиктивного символа).

Обобщая все эти различные наблюдения, Катц и Постал заключают, что единственная функция обобщенных трансформаций, в том что касается семантической интерпретации, состоит в установлении взаимосвязей между семантическими интерпретациями НС-показателей, на которые они воздействуют; другими словами, во вставлении прочтения вложенного НС-показателя в позицию, уже обозначенную (фиктивным символом) в НС-показателе, в который он вставлен. Таким образом, единственный аспект Т-показателя, который необходимо учитывать в семантической интерпретации, это взаимосвязь, определенная узлами, в которых в репрезентации появляются обобщенные трансформации. Помимо этого трансформации, как представляется, не играют никакой роли в семантической интерпретации. Тем самым, функция правил второго типа еще более ограничивается.

Этот принцип, очевидно, значительным образом упрощает теорию семантического компонента, как она представлена в [Katz and Fodor 1963]. Поэтому важно отметить, что в аргументации Катца—Постала нет голословных утверждений. А именно, оправданием данного принципа является не то, что он упрощает семантическую теорию, но скорее то, что в каждом случае, когда он очевидным образом нарушался, могли быть представлены синтаксические аргументы для того, чтобы показать, что анализ был ошибочным вследствие внутренних, синтаксических причин. В свете подобного наблюдения разумно предварительно сформулировать данный принцип как общее свойство грамматики.

Более того, представляется, что имеются достаточные основания считать даже трансформацию пассива обусловленной скорее наличием абстрактного показателя в цепочке, лежащей в основе (см. рассмотрение синтаксических аргументов в пользу этого в [Chomsky 1965]), нежели факультативной, как предполагалось в ранних работах. Следовательно, представляется, что все одинарные трансформации, кроме тех, которые являются «чисто стилистическими» (см. в [Chomsky 1965, 221, 223] обсуждение данного различия — обсуждения, которое, вообще говоря, далеко от удовлетворительного, хотя мне кажется, что здесь вовлечено

бесспорное и важное различие), обусловлены показателями в базовых цепочках, независимо от того, воздействуют или нет эти трансформации на семантическую интерпретацию.

Независимо от этих разработок Ч. Дж. Филлмор указал на то, что существует множество ограничений на организацию Т-показателей помимо тех, которые принимались в ранних попытках сформулировать теорию трансформационной грамматики [Fillmore 1963, 19. 208–231]. Его наблюдения приводят, по сути дела, к следующему: не существует упорядочения обобщенных трансформаций, хотя одинарные трансформации и упорядочены (очевидным линейным образом); не существует одинарных трансформаций, которые должны применяться к матричному предложению до того, как составляющее предложение вкладывается в него путем обобщенной трансформации вложения¹⁸⁾, хотя имеется много разновидностей одинарных трансформаций, которые должны применяться к матричному предложению после вложения в него составляющего предложения и к составляющему предложению до его вложения; вложение должно рассматриваться скорее как замена трансформом предложения «фиктивного символа», нежели как вставление этого трансформы в категориально неопределенную позицию. Последнее наблюдение развивается далее в [Katz and Postal 1964], как указано выше.

Возвращаясь теперь к Т-показателю (19), который выше использован в качестве примера, мы замечаем, что он обладает именно теми свойствами, которые описывает Филлмор. А именно, одинарные трансформации применяются к матричному предложению только после вставления, а упорядочение имеет место только между одинарными трансформациями. Однако более ранняя теория Т-показателей оставляла возможность и для гораздо более сложного типа упорядочения. Тем самым, будет естественно сделать обобщение на основе данных эмпирических наблюдений и предложить в качестве общего условия, налагае-

¹⁸⁾ Термины «матричное предложение» (matrix sentence) и «составляющее предложение» (constituent sentence) появились благодаря [Lees 1960]; матричное предложение это предложение, в которое путем обобщенной трансформации вставляется составляющее предложение. Это же понятие появляется в анализе трансформационных процессов в *Grammaire générale et raisonnée*, где термины «основная пропозиция» (proposition essentielle) и «придаточная пропозиция» (proposition incidente) используются в качестве обозначения «матричного предложения» и «составляющего предложения», соответственно. [Имеется в виду обсуждение авторами «Грамматикис Пор-Рояля» строения относительного предложения, см. [Арно, Ланкло 1990, 129–130]. — Прим. перев.] В действительности «матричная пропозиция» и «составляющая пропозиция» были бы, в любом случае, более предпочтительными терминами, поскольку речь идет не об операциях над предложениями, а скорее над абстрактными структурами, которые лежат в их основе и определяют их семантическую интерпретацию. Именно так эти операции интерпретируются, корректным образом, в *Grammaire générale et raisonnée*.

мого на Т-показатели то, что они всегда должны удовлетворять условиям Филлмора и иметь ту форму, которая проиллюстрирована в (19).

В только что сформулированном виде этот принцип выглядит полностью *ad hoc*, но существует и другой способ выразить в точности то же самое, благодаря которому он кажется вполне естественным. Заметим, что если ни одна одинарная трансформация не применяется к матричному НС-показателю до вложения и если, более того, все вложения предусматривают вставление составляющего НС-показателя в позицию, обозначенную в матричном предложении пустым символом, тогда мы, по сути дела, можем вовсе обойтись без обобщенных трансформаций. Вместо того, чтобы вводить составляющие НС-показатели трансформациями вложения, мы можем разрешить, чтобы правила переписывания базового компонента могли вводить начальный категориальный символ S , т. е. мы можем разрешить правила переписывания вида $A \rightarrow \dots S \dots$

Где бы ни вводился этот символ, мы можем позволить ему возглавить новую деривацию базы. Короче говоря, мы можем применять линейно упорядоченную систему правил переписывания базы циклическим образом, возвращаясь к началу последовательности каждый раз, когда мы встречаем новое появление S , введенного правилом переписывания. Следуя этим путем мы строим то, что можно назвать *обобщенным показателем структуры составляющих*.

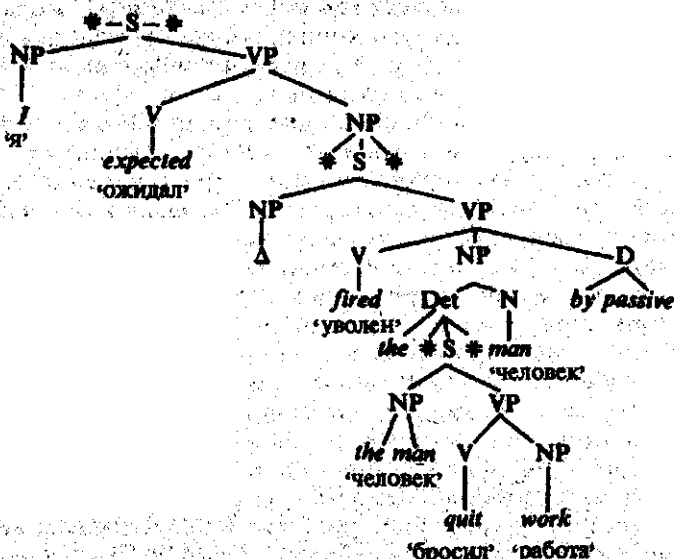
Теперь применим линейную последовательность одинарных трансформаций следующим образом. Во-первых, применим эту последовательность к наиболее глубоко вложенной структуре, над которой в обобщенном НС-показателе доминирует S . Завершив применение правил к каждой такой структуре, применим повторно эту последовательность к следующей более высокой структуре, над которой в обобщенном НС-показателе доминирует S . Будем продолжать действовать таким образом, пока, наконец, последовательность трансформаций не будет применена к структуре, над которой доминирует то входящее S , которое инициировало первое применение правил базового компонента, т. е. к обобщенному НС-показателю в целом. Заметим, что с данной формулировкой мы, в действительности, установили определенные формальные свойства Т-показателя (19) в качестве общих свойств любой трансформационной деривации.

Вернемся теперь к примерам (18)–(20) в свете предложенного пересмотра теории трансформационной грамматики. С применением правил переписывания базы мы строим обобщенный НС-показатель (23) (опускаем все конфигурации, кроме центральной, а также многие подробности).

Трансформации, указанные в (19), теперь применяются, обязательно образом, в следующем порядке. Во-первых, T_{Rel} применяется

к наиболее глубоко вложенной структуре. Затем мы обращаемся к следующей более высокой структуре, т. е. к той, над которой доминирует вложение S в четвертой строке (23). Здесь правило инверсии (не указанное в (19), хотя в действительности необходимое также и в более ранней формулировке) меняет местами относительное предложение и следующее за ним N. Далее мы применяем пассивную трансформацию и последующее опущение неспецифицированного подлежащего, причем эти операции теперь обязательно маркируются фиктивными элементами «пассив» и Δ (замещающим неспецифицированную категорию) в (23). Поскольку на данном этапе никакие дальнейшие трансформации не применяются, мы обращаемся к следующей более высокой структуре, над которой доминирует S — в данном случае к обобщенному НС-показателю целиком. К нему мы применяем T, что, как и раньше, дает (18). Трансформации, указанные в T-показателе (19), теперь являются обязательными и структура T-показателя (19) полностью определяется самим (23), при условии общего соглашения о циклическом применении трансформаций.

(23)



Заметим теперь, что вся информация для семантической интерпретации (18) содержится в обобщенном НС-показателе (23), который лежит в основе (18). Более того, то же самое будет верно и во всех остальных случаях, если предложенные выше поправки верны. Согласно

принципу, предложенному Катцом и Постапом, одинарные трансформации не должны вносить существенный вклад в значение, а обобщенные трансформации должны вносить его лишь в той мере, в какой они соотносят базовые НС-показатели. Однако теперь мы устранили все обобщенные трансформации в пользу рекурсивной операции в базе. Следовательно, вся информация, релевантная для действия интерпретирующего семантического компонента должна содержаться в обобщенном НС-показателе, порожденном правилами базы.

Преимущества данной модификации очевидны. Она дает более высоко структурированную теорию, которая слабее в выразительной силе; другими словами, она исключает в принципе некоторые типы деривационных моделей, которые разрешались более ранней версией трансформационной теории, однако в реальности никогда не встречаются. Поскольку важнейшая цель лингвистической теории заключается в объяснении индивидуальных свойств конкретных языков в терминах гипотез о языковой структуре в целом, любое подобное усиление ограничений в общей теории является важным достижением. Более того, существует и веская внутренняя мотивация для обогащения структуры (и следовательно, уменьшения выразительной силы) трансформационной теории описанным способом — а именно, она состоит в том, что данная модификация позволяет нам устранить понятие «обобщенной трансформации» (а с ним и понятие «Т-показателя») из теории синтаксиса. Поэтому теория становится концептуально проще. И наконец, теория семантического компонента может быть упрощена в том, что более не требуются правила проекции второго типа.

Подводя итог, мы предлагаем считать, что синтаксический компонент грамматики состоит из правил переписывания и трансформационных правил. Правилам переписывания разрешено вводить начальный символ *S*. Эти правила применяются в линейной последовательности; если в итоговой деривации появляется символ *S*, тогда последовательность правил применяется снова, обычным способом, чтобы создать под-деривацию (*subderivation*), над которой бы доминировал этот символ. Рекурсивное свойство грамматики (ее «творческий аспект», возвращаясь к использованной выше терминологии) ограничено базовым компонентом. В действительности, это ограничение может быть еще более сильным, поскольку, возможно, рекурсия ограничена введением символа *S*, то есть введением «пропозиционального содержания». Это не необходимое свойство грамматики составляющих.

Базовые правила, применяясь только что описанным способом, создают обобщенные НС-показатели. Функция трансформационных правил состоит в отображении обобщенных НС-показателей в производные НС-показатели. Если трансформационные правила отображают

обобщенный НС-показатель M_D в производный НС-показатель M_S предложения X , то M_D это глубинная структура X , а M_S это его поверхностная структура.

Данный подход к синтаксису некоторым определенным образом формализует ту точку зрения, что фонетическая форма предложения определяется его реальной размеченной скобочной записью, тогда как его семантическая интерпретация определяется внутренними семантическими свойствами его лексических единиц и сетью грамматических отношений, которая устанавливает взаимосвязи между этими единицами, не будучи обязательно представленной в поверхностной структуре. Лежащие в основе грамматические отношения определяются базовыми правилами. Эта абстрактная система категорий и отношений соотносится с размеченной скобочной записью реального предложения через трансформационные правила и интерпретирующие правила фонологического компонента. Существует достаточно веская причина предполагать, что базовые правила довольно узко ограничены, как в терминах тех символов, которые могут в них встречаться, так и в терминах конфигураций этих символов, однако здесь я не буду подробнее вдаваться в этот вопрос (см. некоторое обсуждение в [Chomsky 1965]). В той мере, в которой в настоящее время доступна информация о синтаксической структуре и о соотношении сигналов с семантическими интерпретациями этих сигналов, данная точка зрения кажется с этой информацией совместимой. Стоит упомянуть, что очень похожая точка зрения излагается в *Grammaire generale et raisonnee*, к которой мы уже неоднократно обращались.

Мы могли бы спросить, почему естественный язык устроен именно таким образом; почему, в частности, он не отождествил глубинную и поверхностную структуры и не избавился тем самым от связывающих их трансформаций. Естественно было бы попытаться найти ответ на этот вопрос в области восприятия. Некоторые размышления, которые мне представляются заслуживающими дальнейшего развития, см. в [Miller and Chomsky 1963, part II].

Заметим, что базовые правила могут создавать такие обобщенные НС-показатели, которые не могут быть отображены какой бы то ни было последовательностью трансформаций в поверхностную структуру. Например, предположим, что мы бы выбрали составляющую *the boy* 'мальчик' вместо *the man* 'человек' в самой глубоко вложенной структуре в (23). В этом случае обобщенный НС-показатель очевидным образом не являлся бы глубинной структурой какого-либо предложения; не существует предложения, для которого данная структура предоставляла бы семантическую интерпретацию. И в действительности, относительная трансформация была бы заблокирована при примене-

нии к данной структуре из-за отсутствия тождества между именными группами матричного и составляющего предложений¹⁹⁾. Поэтому не все обобщенные НС-показатели лежат в основе предложений и, тем самым, считаются глубинными структурами. Глубинными структурами являются те обобщенные НС-показатели, которые отображаются в правильно построенных (*well-formed*) по трансформационным правилам поверхностных структурах. Тем самым, трансформационные правила имеют «фильтрующую» функцию; на самом деле, они добавляют некоторые общие ограничения, которым должна удовлетворять глубинная структура, — ограничения, которые, в действительности, совершенно невозможно сформулировать в рамках элементарных правил переписывания, которые кажутся полностью адекватными для порождения базовых структур с грамматическими функциями и отношениями, которые они выражают. Дальнейшее обсуждение этого свойства трансформаций см. в [Chomsky 1965, ch. 3].

Подобным образом мы можем построить теорию грамматических трансформаций, которая концептуально проще более ранней версии, описанной выше, однако при этом очевидным образом эмпирически адекватна. В этой модифицированной формулировке функции базовых правил и трансформационных правил выражены более ясно, равно как и понятия глубинной и поверхностной структуры. Соответственно, мы имеем также упрощение семантической теории²⁰⁾.

Я начал данный раздел с того, что представил в общих чертах некоторую теорию грамматики. Затем я попытался показать, что эта теория была слишком широка и богата по выразительной силе и что ее гораздо более ограниченной версии (которая, более того, хорошо мотивирована в концептуальном отношении) будет достаточно для описания того, для чего в настоящее время доступны эмпирические данные. Теперь я хотел бы обратиться к неадекватности более ранней теории в противоположном отношении, а именно, к классу проблем, которые показывают, что теория в некотором смысле слишком бедна по выразительной силе.

Ограничим сейчас наше внимание базовым компонентом синтаксиса. Обрисованная выше теория следовала структуралистским допущениям, предполагая, что отношение лексических единиц к категориям,

¹⁹⁾ Сюда вовлечено множество самых общих условий в трансформационном компоненте грамматики на восстановимость опущения. См. обсуждение в [Chomsky 1964; 1965; Katz and Postal 1964].

²⁰⁾ Кстати, здесь рассматривались только трансформации вложения. Необходимо также показать, как в рамках данного подхода могут быть разработаны различные трансформации, которые вводят сочинительные структуры (например, союз). Некоторые замечания по данному вопросу см. в [Chomsky 1965] и указанных там источниках.

к которым они принадлежат, является в основе таким же, как и отношение составляющих к категориям, членами которых они являются. Говоря формально, предполагалось, что лексическая единица X вводится правилами переписывания вида $A \rightarrow X$, где A это лексическая категория, в точности таким же образом, как вводятся составляющие²¹⁾. Однако с этой точкой зрения быстро появились трудности. Вскоре после публикации самой ранней работы по трансформационной порождающей грамматике Г. Мэттьюз указал на то, что в то время как категоризация составляющих является, как правило, иерархической и, тем самым, находится в рамках грамматики составляющих, лексическая категоризация, как правило, подразумевает перекрестную классификацию (cross-classification) и, тем самым, выходит за эти рамки. Например, имя существительное может быть собственным или нарицательным и, независимо от этого, может быть одушевленным или неодушевленным; глагол может быть переходным или непереходным и, независимо от этого, может допускать или не допускать неодушевленное подлежащее, и т. п. Данный факт нельзя сформулировать в рамках грамматики составляющих. Следовательно, теория базы должна быть расширена таким образом, чтобы обеспечить анализ лексической категоризации, которая отличается в фундаментальном отношении от анализа в терминах правил переписывания, которые представляются вполне адекватными на уровне выше лексической категории. Сходные наблюдения были независимо сделаны Стокуэллом, Андерсоном, Шахтером и Бахом, и высказывались различные предложения по поводу того, как исправить этот недостаток базового компонента. Эта общая проблема подробнее рассматривается в [Chomsky 1965, ch. 2], где имеются также отсылки к более ранним работам, которые только что упоминались. Я кратко обрисую высказанные там предложения по модификации теорий базового компонента.

Заметим, что формально проблема лексической перекрестной классификации аналогична проблеме фонологической классификации. Так, фонологические элементы, как правило, также перекрестно классифицируются по отношению к действию различных фонологических правил. Определенные правила применяются к категории звонких сегментов (Voiced segments); другие — к категории непрерывных (Continu-

21) Заметим, что хотя такая точка зрения была представлена во всех работах по современной синтаксической теории, где рассматривались какие-либо вопросы помимо чисто терминологических уточнений, некорректность данной точки зрения стала очевидна только тогда, когда она была формализована в рамках эксплицитной теории грамматики. Содержательная причина для формализации и эксплицитности состоит, конечно, в том, что они сразу же выявляют несоответствия, которые в противном случае были бы далеко не очевидны.

ents); отнесение сегмента к одной из данных категорий не зависит от его отнесения к другой. И, более того, такая ситуация типична. В действительности, это является веским аргументом в пользу той точки зрения, что сегменты (например, фонемы или морфофонемы) не имеют независимого лингвистического статуса и должны рассматриваться просто как множества признаков.

Говоря еще более обобщенно, лексическая единица может быть фонологически представлена как определенное множество признаков, с указанием их позиции. Так, лексическая единица *bee* 'пчела' может быть представлена множеством признаков [Консонантный₁, Звонкий₁, Прерванный₁, ... Вокальный₂, Не-низкий₂, ...], которое показывает, что его первый «сегмент» является консонантным, звонким, прерванным, ..., а его второй «сегмент» является вокальным, не-низким, ...²²) Такая репрезентация может быть изображена в матричной форме очевидным и привычным способом. Она дает полностью удовлетворительное решение проблемы перекрестной классификации на фонологическом уровне (и, более того, очень хорошо соотносится с универсальной фонетической теорией, которая кажется мне наиболее удовлетворительной на сегодняшний день, — а именно, якобсоновской теории различительных признаков; далее в статье я исхожу из этой теории в том ее виде, который недавно ей придал Халле).

Заметим также, что семантический анализ лексических единиц также очевидным образом нуждается в некоторой разновидности признаковой теории, и что по этим признакам, как правило, перекрестно классифицируются лексические единицы. Так, Катц и Фодор [Katz and Fodor 1963] и Катц и Постал [Katz and Postal 1964] вынуждены прийти к заключению, что по существу лексическая единица в ее семантическом аспекте должна состоять из множества семантических признаков.

Данные наблюдения наводят на мысль, что проблеме синтаксической перекрестной классификации следует решать таким же образом, в особенности в силу того, что она имеет дело только с лексическими единицами, а не типами составляющих. Принимая это достаточно естественное предложение, пересмотрим теорию базового компонента следующим образом. Базовый компонент состоит из системы (предположительно, линейной последовательности) правил переписывания, которые мы можем назвать его *категориальным компонентом*. Помимо этого он содержит *лексикон* (lexicon). Лексикон — это неупорядоченное множество *лексических входов* (lexical entries). Каждый лекси-

²²) Акустические признаки «консонантный», «вокальный», «прерванный», «низкий» и пр. описываются в универсальной фонетической классификации Р. Якобсона, М. Халле и Г. Фанта; см. прежде всего [Якобсон и др. 1962; Якобсон, Халле 1962]. — Прим. перев.

ческий вход это просто множество заданных признаков. Признаки составляющие лексический вход, могут быть фонологическими (например, $[\pm \text{Звонкий}]$, где n это целое число, обозначающее позицию), семантическими (например, $[\pm \text{Артефакт}]$) или синтаксическими (например, $[\pm \text{Собственный (Proper)}]$). Здесь мы ограничиваем свое внимание синтаксическими признаками. Категориальный компонент базы не порождает в цепочках лексические единицы (хотя он может вводить грамматические морфемы). В первом приближении мы можем считать, что каждая лексическая категория A (например, Имя, Местоимение и пр.) входит только в правила переписывания вида $A \rightarrow \Delta$, где Δ есть фиксированный пустой символ. Таким образом, конечные цепочки, порождаемые категориальным компонентом (назовем их *пре-терминальными цепочками*) основаны на некотором «словаре» (т. е. множестве примитивов) — см. выше, с. 119, состоящем из грамматических морфем и символа Δ . Последний занимает позицию, в которую будут вставлены единицы из лексикона тем способом, который мы непосредственно опишем ниже. Пре-терминальная цепочка преобразуется в *терминальную цепочку* при вставлении подходящей лексической единицы в каждую из позиций, помеченных символом Δ .

Вспомним, что глубинные структуры, которые определяют семантическую интерпретацию, являются обобщенными НС-показателями, порождаемыми базовым компонентом. Как мы отмечали выше, кажется обоснованным разрабатывать семантическую теорию в терминах правил проекции, которые последовательно приписывают прочтения все более высоким узлам глубинной структуры, основываясь в этом приписывании на прочтениях, приписанных уже проинтерпретированным узлам, и на грамматических отношениях, представленных данной конфигурацией. Грамматические отношения и порядок применения интерпретирующих правил проекции полностью определяются категориальным компонентом базы. Внутренние семантические свойства, которые предоставляют этому процессу семантической интерпретации начальные прочтения (т. е. прочтения лексических единиц, которые являются терминальными элементами обобщенного НС-показателя), полностью предоставляются лексиконом. Таким образом, два основных аспекта семантической теории отражаются в разделении базы на категориальный и лексический компоненты.

Действие категориального компонента понятно; поэтому рассмотрим более подробно лексикон. Лексический вход для определенной единицы должен содержать всю информацию об уникальных (*idiosyncratic*) признаках данной лексической единицы — признаках, которые нельзя предсказать по общему правилу. Так, тот факт, что *buy* 'покупать' начинается со звонкого прерванного, что это переходный глагол, что

у него есть нерегулярности в словоизменении, что он подразумевает передачу собственности и т. п., необходимо представить признаками в лексическом входе. Прочие свойства (например, что начальный прерванный является непридыхательным) могут быть предсказаны по правилам (в данном случае по фонологическому правилу). Но могут существовать также *правила избыточности* (redundancy rules) различных типов, которые воздействуют на фонологические, семантические и синтаксические признаки и которые устанавливают взаимоотношения между признаками различных типов. В той мере, в какой регулярности в объединении признаков могут быть выражены правилами, данные признаки могут быть извлечены из лексического входа (обсуждение правил избыточности см. в [Chomsky 1965], в особенности гл. 4, § 2.1). Обычно лексическая единица имеет уникальные свойства во многих отношениях. Поскольку они могут теперь быть специфицированы в лексическом входе, больше нет нужды представлять их в правилах переписывания. Это ведет к огромному упрощению базового компонента, что будет очевидно для любого, кто когда-либо пытался построить подробное грамматическое описание.

Рассмотрим теперь правило, которое вставляет лексические единицы в пре-терминальные цепочки. Заметим, что это правило должно учитывать структуру НС-показателя, в который вставляется единица. Например, когда мы говорим, что глагол является переходным, мы утверждаем, что он может появляться в позиции — NP в глагольной группе. Тем самым, синтаксический признак [+ Переходный] должен специфицировать некоторое свойство НС-показателя, в который может быть вставлена данная единица. Назовем признак данного типа *контекстуальным признаком* (contextual feature). В противоположность этому, будем называть такие признаки существительных, как [± Человек], *неконтекстуальными* (non-contextual). Вырожденный случай контекстуального признака — это сам признак [± Имя существительное], который указывает на минимальное свойство НС-показателя, а именно, на категорию, доминирующую над вхождением Δ , которое может быть заменено данной единицей. Такие вырожденные контекстуальные признаки мы можем назвать *категориальными признаками*. Для категориальных признаков очевидной нотацией является [± A], где A — это лексическая категория. Согласно конвенции, следовательно, мы утверждаем, что единица с категориальным признаком [± A] может замещать только вхождение Δ , над которым доминирует категориальный символ A.

Рассмотрим теперь проблему подходящей нотации для других контекстуальных признаков, например, переходности. Понятно, что наилучшей нотацией является просто указание контекста, в котором может встречаться единица. Так, признак [± Переходный] может быть пред-

ставлен просто как [+ NP]. Аналогично, на тот факт, что за *persuade* 'убеждать' может следовать именная группа и последующая предложная группа (например, *I persuaded John of the pointlessness of his actions* 'Я убедил Джона в бессмысленности его действий'), можно указать, приписав контекстуальный признак [+ NP PP] лексическому входу для *persuade* (в действительности, это очевидным образом единственный контекстуальный признак, необходимый для определения той рамки (frame), в которой может появляться *persuade*, так как все остальные формы производятся по трансформациям — см. обсуждение этого вопроса в [Chomsky 1965]). Контекстуальные признаки данного типа, которые специфицируют рамку, в которую может быть подставлена единица, мы будем называть *признаками строгой субкатегоризации* (strict subcategorization features).

Наряду с признаками строгой субкатегоризации существуют контекстуальные признаки совершенно иного типа, которые мы будем называть *селекционными признаками* (selectional features). Если признаки строгой субкатегоризации определяют категориальные рамки, в которых может встречаться единица, селекционные признаки лексической единицы X задают лексические признаки единиц, с которыми X входит в грамматические отношения. Так, селекционные признаки для *frighten* 'бояться' будут указывать, что его объект должен быть специфицирован как [+ Одушевленный], селекционные признаки для *elapse* 'проходить, истекать (о времени)' будут указывать, что его подлежащим не может быть [+ Человек] (а для подлинной дескриптивной адекватности они, очевидно, должны давать гораздо более узкую спецификацию, нежели эта) и т. п. Аналогично, селекционные признаки для *abundant* 'изобилующий' должны указывать, что он может быть предцифрован к *harvest* 'урожай', но не к *boy* 'мальчик', тогда как селекционные признаки для *clever* 'умный' должны содержать противоположную спецификацию. Селекционные признаки можно представить нотацией, очень похожей на ту, которая выше была предложена для строгих признаков субкатегоризации.

Контекстуальные признаки могут рассматриваться как задающие определенные трансформации замещения (substitution transformations). Контекст, указанный в контекстуальном признаке, задает условие, которому должен удовлетворять НС-показатель, к которому применяется данная трансформация, и способ, которым этот НС-показатель должен быть проанализирован для целей данной трансформации. Тем самым он определяет структурный анализ трансформации (см. выше, с. 116). Элементарная трансформация, которая завершает определение трансформации, устанавливает, что лексическая единица, о которой идет речь (т. е. множество заданных признаков, которое составляет лексичес-

ческий вход) заменяет вхождение Δ , который находится в позиции, указанной в структурном анализе.

Из этих примеров ясно, что существует много ограничений на форму трансформаций замещения, определенных контекстуальными признаками. Так, признаки строгой субкатегоризации затрагивают только «локальные контексты» — т. е. контексты, над которыми доминирует категория составляющей (phrase category); последняя непосредственно доминирует над лексической категорией, замещаемой лексической единицей. С другой стороны, селекционные признаки делают отсылку только к «вершинам» родственных грамматических конструкций. Эти ограничения можно сделать точными и можно показать, что они ведут к некоторым интересным следствиям относительно возможных ограничений, которые могут обнаруживаться в грамматике. Это обсуждается снова в [Chomsky 1965].

Я не рассматривал здесь проблему отклонения от грамматической правильности (grammaticalness). Однако понятно, что всякий раз, когда существует грамматическое правило, мы можем спросить, как интерпретируется предложение, которое отклоняется от этого правила. Представляется, что предложения, отклоняющиеся от селекционных правил, интерпретируются совершенно иначе, чем отклоняющиеся от правил строгой субкатегоризации. Отклонение от селекционных правил дает такие примеры, как *colourless green ideas sleep furiously* 'бесцветные зеленые идеи спят яростно', *sincerity admires John* 'искренность восхищается Джоном' и т. п.; отклонения от строгих правил субкатегоризации дает такие примеры, как *John persuaded to leave* 'Джон убедил уйти', *John found sad* 'Джон обнаружил грустным' и т. п. Предложения первого типа часто интерпретируются как тем или иным образом метафорические; предложения второго типа, если и являются вообще интерпретируемыми, должны рассматриваться совершенно отличным образом. Отклонения от контекстуальных правил, в которых задействованы категориальные признаки (см. выше, с. 135) еще более отличаются по интерпретирующим возможностям. Таким образом, различные типы контекстуальных признаков довольно сильно отличаются по тем условиям, которые они налагают на структуры предложений.

Заметим, между прочим, что та легкость, с которой могут быть проинтерпретированы предложения, отклоняющиеся от селекционных правил, является не просто результатом того, что сюда вовлечены такие синтаксические признаки «низкого уровня», как [\pm Человек] или [принимает Одушевленный объект]. Эти признаки могут участвовать в таких правилах, которые вообще не могут нарушаться так, как могут нарушаться селекционные правила (ср., например, такие выражения, как *the table who I scratched with a knife* 'стол, которого я поцарапал ножом', *who*

I saw was John 'кто я увидел, был Джон', *a very barking dog* 'очень лающая собака' и т. п.). Можно многое сказать об этой общей проблеме; ясно, однако, что ее нетривиальное изучение требует всестороннего и досконального понимания разнообразных типов грамматических процессов.

Давая эту краткую характеристику синтаксических признаков мы полагали, что признаки имени существительного являются внутренне присущими ему, а признаки, которые селекционно связывают имена с глаголами или имена с прилагательными, имеют вид контекстуальных (селекционных) признаков глаголов и прилагательных. Это решение не было случайным; его можно легко обосновать на синтаксических основаниях. Обсуждение данного вопроса, а также многих других тем кратко затронутых здесь, см. в [Chomsky 1965, ch. 2].

На этом я заканчиваю часть 5 из представленного в начале статьи плана. Я кратко обрисовал два основных недостатка первых современных попыток сформулировать теорию грамматических трансформаций, на которые было указано в более поздних работах. Первым недостатком была слишком большая выразительная сила теории. Затем мы обсуждали недостаток противоположного типа, а именно, неспособность выразить определенные аспекты грамматической структуры, и предложили способ такой модификации теории, чтобы она могла ее преодолеть. Теория трансформационной порождающей грамматики, явившаяся результатом этих модификаций, концептуально очень проста и достаточно хорошо подкрепляется теми эмпирическими данными, которые доступны в настоящее время. Каждый компонент этой теории имеет строго определенную функцию; я не вижу способа, которым какой-либо из постулированных механизмов мог бы быть удален без ущерба для дескриптивной адекватности, и не знаю никакого оправдания для постулирования более сложной структуры и организации теории синтаксического компонента, чем тот, который был охарактеризован в этом очерке. Поэтому в настоящее время данная теория представляет собой, как мне кажется, наиболее удовлетворительную гипотезу о форме синтаксического компонента грамматики.

Примечания переводчика

В работах Хомского, переведенных в 1960–1970-е годы на русский язык — монографиях «Синтаксические структуры», «Аспекты теории синтаксиса», «Язык и мышление» и ряде статей — представлена наиболее ранняя версия порождающей грамматики, так называемая «Стандартная теория». (К этой же версии относится и публикуемая в настоящем сборнике работа, в которой в основном резюмируются

положения «Аспектов теории синтаксиса».) В дальнейшем трансформационная порождающая грамматика претерпела существенную эволюцию (в частности, произошел отказ от понятия «трансформации», в силу чего грамматика перестала быть «трансформационной»); в настоящее время она значительно отличается от «Стандартной теории» 1960-х годов, за которой последовали «Расширенная стандартная теория» (1970-е годы), «Теория принципов и параметров» (или «Теория управления и связывания», 1980-е годы) и, наконец, «Минималистская программа» (с 1993 года по настоящее время). В связи со снижением интереса к теории Хомского в СССР в 1970–1980-е годы ни одна из его ключевых работ более позднего периода не была переведена на русский язык. Исключение составляет работа «Язык и проблема знания» (1988), посвященная общим вопросам теории Универсальной грамматики, описывающей языковую способность человека [Хомский 1995–1996]. В последние годы были переведены также некоторые книги Хомского, посвященные критике политики США и вопросам международных отношений [Хомский 2001; 2002 а; 2002 б]. Об истории порождающей грамматики и современных версиях данного направления см., из последних работ, [Бейлин 1997; Казенин, Тестелец 1997; Тестелец 2001, гл. XI–XIII]. О порождающей фонологии см. подробнее [Зубрицкая 1997; Кодзасов, Кривнова 1981; Кодзасов, Кривнова 2001, гл. 10].

Бейлин 1997 — Бейлин Дж. Краткая история генеративной грамматики // *Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Сборник обзоров*. М., 1997.

Зубрицкая 1997 — Зубрицкая Е. Фонология // *Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Сборник обзоров*. М., 1997.

Казенин, Тестелец 1997 — Казенин К. И., Тестелец Я. Г. Исследование синтаксических ограничений в генеративной грамматике // *Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Сборник обзоров*. М., 1997; 2-е изд. Американская лингвистика. Фундаментальные направления. М.: УРСС, 2002.

Кодзасов, Кривнова 1981 — Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Современная американская фонология. М., 1981.

Кодзасов, Кривнова 2001 — Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. М., 2001.

Тестелец 2001 — Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001.

Хомский 1962 — Хомский Н. Синтаксические структуры // *Новое в лингвистике*. Вып. II. М., 1962.

Хомский 1965 а — Хомский Н. Логические основы лингвистической теории // *Новое в лингвистике*. Вып. IV. М., 1965.

- Хомский 1965 б — Хомский Н. О понятии «правило грамматики» // Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965.
- Хомский 1966 — Хомский Н. Формальные свойства грамматик // Кибернетический сборник. Новая серия. Вып. 2. М., 1966.
- Хомский 1972 а — Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
- Хомский 1972 б — Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972.
- Хомский 1995 — Хомский Н. Язык и проблема знания // Вестник МГУ. Сер. 9: Филология. 1995, № 4, 6; 1996, № 2, 4, 6.
- Хомский, Миллер 1965 — Хомский Н., Миллер Дж. Введение в формальный анализ естественных языков // Кибернетический сборник. Новая серия. Вып. 1. М., 1965.
- Хомский 2001 — Хомский Н. 9–11. М., 2001.
- Хомский 2002 а — Хомский Н. Прибыль на людях. М., 2002.
- Хомский 2002 б — Хомский Н. Новый военный гуманизм. М., 2002.

VI

Философская релевантность языковой теории*

Дж. Катц

1. Введение

Настоящая работа призвана доказать важность лингвистики для философии, исходя из того, что языковая теория, или теория языка, содержит в себе решение многих философских проблем. Основной тезис, который я собираюсь здесь защищать, можно сформулировать так: некоторые философские проблемы можно правильно осмыслить и представить как вопросы, связанные с природой языка, и далее решать их, опираясь на теоретические конструкции, возникающие в рамках теории языка¹⁾.

Синхронная лингвистика содержит два отдельных, но взаимосвязанных раздела: изучение разнообразия форм языковой коммуникации и изучение границ этого разнообразия. В первом из них лингвисты исследуют уникальные особенности отдельных естественных языков и отражают результаты своих исследований в том, что называется *языковыми описаниями* (или *порождающими грамматиками*), во втором разделе исследуют общие свойства всех естественных языков и отражают эти более общие факты о языке в *теории языка*. Теория языка, следовательно, есть не что иное, как учение о языковых универсалиях.

При таком понимании языковой теории основной тезис данной работы заключается в том, что теоретические конструкции, первоначально придуманные лингвистами для единообразного и систематического отображения и объяснения универсальных языковых фактов, удовлетворяют также всем условиям, которые необходимы для решения ряда философских задач, связанных с природой языка. Это положение не следует понимать как утверждение, будто бы описания языков,

* Katz Jerold J. The philosophical relevance of linguistic theory. Впервые в таком виде статья была опубликована в книге Rorty R. (ed.). The Linguistic Turn. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1967. P. 340–355. Настоящий вариант статьи является переработанной и расширенной версией этой работы под тем же названием из журнала «Journal of philosophy».

¹⁾ В последнем разделе работы я укажу на иного рода связь лингвистики с философией.

выполненные лингвистами, обнаруживают глубокое проникновение в природу философских проблем и избоблюют тонкими философскими догадками и умозаключениями, избавляющими философов от необходимости обращаться к этим же языкам. Наш тезис не связан ни с философским, ни с лингвистическим объяснением фактов конкретных языков, а скорее говорит о более абстрактных вещах, с которыми приходится иметь дело при объяснении фактов языка вообще.

Если защита данного тезиса пройдет успешно, то станет ясно, что связь лингвистики с философией является не случайной — в том смысле, что развитие философии науки опирается на совершенствование методологии и теории языка, — а прямой и непосредственной, состоящей в том, что философские теории опираются на теорию языковых конструкций и методологию работы с ними. У меня нет *априорных* представлений об *априорном* характере философских исследований, и потому меня несколько не смущает то обстоятельство, что для решения ряда философских задач необходимо выйти за пределы философии и узнать очень многое из того, что ни в философию, ни в логику не входит, то есть узнать и осмыслить целый ряд экстрафилософских и экстралогических идей и фактов.

Поскольку я вынужден ограничиться рамками настоящей статьи, мне, конечно, не только не удастся изложить здесь все аргументы в защиту выдвинутого тезиса, но даже те аргументы, что я привожу, мне приходится приводить в неполной форме. Поэтому мою работу следует рассматривать не более чем представление самого тезиса, снабженное отдельными краткими соображениями и доводами в его защиту, а также необходимыми комментариями.

2. Обоснование обращения к лингвистике

С самого начала уместно задать вопрос, а зачем вообще нам нужно обращаться к лингвистике, то есть почему для решения собственно философских проблем требуется выходить за пределы современной философии? Ответ на этот вопрос достаточно прост: подходы, разработанные в современной философии, плохо приспособлены для решения подобных проблем, а потому их применение не привело к желаемым результатам. Больше того, в самих этих подходах есть внутренние сложности и противоречия, что делает их успешное использование для решения философских проблем весьма проблематичным. В более ранних работах²⁾ я пытался показать, и довольно подробно, почему

²⁾ См., например, [Katz, Fodor 1962] и [Katz 1966].

два основных подхода в современной философии, Логический Эмпиризм (Логический Позитивизм) и Философия Обыденного Языка, в принципе не способны предложить адекватные и хорошо мотивированные решения фундаментальных философских проблем, с которыми они имеют дело. Я не вижу здесь ни необходимости, ни возможности повторять свою критику в их адрес. Тем не менее, самая общая характеристика тех трудностей, которые непосредственно связаны с этими философскими течениями, такова. Логический эмпиризм все свои усилия сосредоточил исключительно на построении в высшей степени случайных и концептуально бедных теорий о классах искусственных языков, структура которых крайне мало напоминает структуры естественных языков. Философия обыденного языка погрязла в поисках мельчайших и подробнейших фактов, касающихся поведения английских языковых единиц, и полностью пренебрегла построением теории. Таким образом, если первое течение постоянно предлагало нам совершенно беспомощные и потому бесполезные философские теории, то второе вообще не выдвинуло никакой теории. Каждое из течений, разумеется, с гордостью подчеркивало свои недостатки, обращая пороки в сомнительные достоинства. Логический эмпиризм гордился своим исключительным вниманием к искусственным языкам, заявляя, что естественные языки слишком нерегулярные, аморфные и неопределенные образования, чтобы стать основой для решения философских проблем. Философия обыденного языка гордилась тем, что сознательно избегает теоретических построений, заявляя, что те трудности, которые философия пытается разрешить путем анализа употреблений конкретных языковых единиц, порождают сами теории. Однако претензии логического эмпиризма никогда не подвергались эмпирической проверке; к тому же и сам логический эмпиризм не выдвинул никаких альтернативных критериев для подтверждения теории искусственных языков, которые бы заменили традиционный испытанный способ проверки теории с точки зрения ее согласованности с фактами естественного языка, то есть того объекта, который был логическим эмпиризмом полностью устранен. Философы, исследующие обыденный язык, никогда не утверждали, что теории, в которых они усматривали источники отдельных философских проблем, были, попросту говоря, плохими теориями, и никогда всерьез не задумывались над вопросом, какой должна быть хорошая теория, чтобы, осуществив концептуальную систематизацию языковых фактов, она могла предложить решение философских проблем, которые возникают в ходе обычного, теоретически простого языкового употребления. Соответственно, решения, предоставляемые этими двумя подходами, основываясь либо на немотивированных, а потому произвольных, принципах, либо на не в меру обстоятельных и дотошных анализах

языковых единиц, связь которых с философскими проблемами никогда не устанавливалась и никогда полностью не проявлялась.

Такая неудовлетворительная ситуация заставила группу философов, наиболее заметной фигурой среди которых был У. Куайн, обратить внимание на эмпирическую лингвистику. Хотя я, безусловно, с одобрением отношусь к данному факту, у меня с этими философами имеется ряд существенных разногласий. Один из пунктов их разногласий касается вопроса о том, что в лингвистике является релевантным для философии, а другой — вопроса о природе и границах этой релевантности.

3. Теория языка

Я говорил, что часть лингвистики, которая имеет отношение к философии, это теория языка. В этом разделе я попытаюсь объяснить, что представляет собой эта часть лингвистики.

Как уже отмечалось выше, теория языка является учением о языковых универсалиях, о принципах их организации и интерпретации, не зависящих от выбора конкретного языка, то есть о законах, которые остаются неизменными при переходе от одного естественного языка к другому. Теория языка отражает такие инварианты в виде модели языкового описания, внутри которой каждое эмпирически удачное языковое описание должно занимать определенную ячейку и демонстрировать тот или иной аспект модели. Частные языковые описания объясняют многообразные способы, посредством которых разные естественные языки реализуют представленные в модели абстрактные структурные образцы, а сама модель описывает формальное устройство системы эмпирических обобщений, способной к выражению и организации информации о естественном языке.

Поэтому построение теории языка и языковых описаний внутренне взаимосвязаны. Лингвисты могут выделять общие черты из множества описаний конкретных языков и таким образом формулировать обобщения, строя гипотезы о языковых универсалиях. И наоборот, они могут облегчить себе задачу описания конкретного языка, воспользовавшись моделью языковой теории в качестве схемы для систематизации фактов, обнаруженных в ходе полевых исследований. Как следствие сказанного, проверка языковой теории и отдельных языковых описаний имеет общий базис, а именно — естественно-языковые факты, от которых зависит оценка степени эмпирической адекватности языкового описания. Поскольку гипотетические языковые универсалии — это обобщения, полученные в результате индуктивной экстраполяции известных фактов и закономерностей, которые были пропущены через множество

уже построенных конкретных языковых описаний, их эмпирическая адекватность зависит, тем самым, от того, подкрепят ли новые факты, на которых в конечном счете будут основываться новые языковые описания, ранее полученные обобщения. Таким образом, факты, подтверждающие или опровергающие частные языковые описания, это те же самые факты, которые подтверждают или опровергают теорию языка. Отмечу, наконец, еще одно: если общий вид данного конкретно-языкового описания логически выводим из языковой теории, то такое описание является гораздо более надежным, поскольку подтверждено лучше, чем то описание, которое проверяется лишь фактами языка, для которого оно построено. Действительно, описание, выводимое из теории языка, всегда подкреплено также разнообразными фактами многих других языков, поскольку описания этих фактов через посредство теории языка оказываются связанными с данным описанием.

Теория языка состоит из трех «под-теорий», то есть частей, каждая из которых соответствует одному из компонентов языкового описания. Термины «фонологическая теория», «синтаксическая теория» и «семантическая теория» обозначают эти части, а выражения «фонологический компонент», «синтаксический компонент» и «семантический компонент» называют соответствующие фрагменты языкового описания. Фонологический, синтаксический и семантический компоненты — это оговоренные в виде правил представления знаний, которые приобрел говорящий, свободно владеющий данным языком. Первый компонент содержит правила, определяющие фонетическую структуру звучащей речи, второй — правила, определяющие, как речевые звуки с фиксированной фонетической формой образуют структуры предложений, а третий — правила, определяющие, каким образом эти структуры интерпретируются как смысловые сообщения. В границах данной теории языка — порождающей грамматики — фонологическая, синтаксическая и семантическая теории в совокупности описывают форму представленных в языковом описании правил, определяют теоретические конструкты, используемые при написании конкретных правил в данном конкретном виде, и задают отношения между правилами внутри каждого из компонентов.

Теория языка тоже задает отношения между этими компонентами, которые объединяют сами эти отношения в интегральное языковое описание. Основная проблема, постоянно возникающая при языковом описании, заключается в экспликации единой системы правил, на базе которой разные носители одного языка могут связывать один и тот же речевой сигнал с одним и тем же смысловым сообщением. Способность говорящих передавать друг другу мысли и идеи посредством артикулированных речевых звуков предполагает, что каждый

говорящий на данном языке овладел общей системой правил, внутри которой каждое грамматически правильное высказывание получает фиксированную семантическую интерпретацию. Языковая коммуникация происходит только тогда, когда разные говорящие в вербальном взаимодействии устанавливают одни и те же связи между звучанием и значением. Поскольку каждое языковое описание должно формально моделировать соответствия между звучанием и значением, его компоненты должны быть связаны друг с другом; необходимо, чтобы фонетическое и синтаксическое представления предложения, задаваемые, соответственно, фонологическим и синтаксическим компонентами, были формально связаны с семантическим представлением предложения, заданным семантическим компонентом. Модель языкового описания, предлагаемая теорией языка, должна показать, что разные схемы для установления связей, которые обнаруживаются в разных естественных языках, являются частными случаями общей схемы, одной и той же для всех естественных языков.

В конкретной модели языкового описания (см. [Katz, Postal 1964] и [Chomsky 1965]) эта общая схема включена в следующий организационный системный блок. Синтаксический компонент является порождающим источником конкретного языкового описания. Он порождает абстрактные формальные объекты, служащие входом в фонологический и семантический компоненты. Выходами этих компонентов являются, соответственно, фонетическая и семантическая интерпретации, а потому оба компонента являются чисто интерпретирующими системами. На выходе синтаксического компонента мы получаем синтаксическое описание каждого предложения данного языка в виде множества *НС-показателей*. *НС-показатели* можно представлять себе как размеченные скобки, внутри которых стоят составляющие предложения, причем каждая скобка показывает, что единицы внутри нее образуют одну составляющую, а разметка скобки служит обозначением той синтаксической категории, к которой принадлежит данная составляющая. Таким образом, два слова, две группы слов или два предложения являются составляющими одного синтаксического типа тогда и только тогда, когда они получают одну и ту же пометку. В свою очередь множество *НС-показателей*, образующих синтаксическое описание предложения, состоит из подмножества *глубинных НС-показателей*, в котором *близок* одного элемента, и подмножества из одного *поверхностного НС-показателя*; число *глубинных НС-показателей* в синтаксическом описании предложения показывает степень его синтаксической неоднозначности (так что каждый *глубинный НС-показатель* отражает ровно одно из множества синтаксических прочтений предложения). *Глубинный НС-показатель* описывает тот аспект синтаксиса предложения, функцией от которого

является его значение, а поверхностный НС-показатель описывает тот аспект синтаксиса предложения, который определяет его фонетический облик. Поэтому область действия правил семантического компонента — это глубинные НС-показатели предложения, и на его выходе мы получаем семантическую интерпретацию предложения, а область действия правил фонологического компонента — это поверхностный НС-показатель предложения, и на его выходе мы получаем фонетическое представление предложения. Глубинные НС-показатели в синтаксическом описании связаны с поверхностным НС-показателем в силу того, что последний является трансформационным дериватом каждого из них. Другими словами, трансформации — это синтаксические правила, порождающие поверхностный НС-показатель из глубинных. В результате множество глубинных НС-показателей в данном синтаксическом описании автоматически связывается с поверхностным НС-показателем, потому что поверхностный НС-показатель порождается из каждого из глубинных строго определенной (но в каждом отдельном случае разной) цепочки трансформаций и не может быть получен трансформациями ни из каких глубинных НС-показателей за пределами этого множества. Поэтому языковое описание связывает, как мы того и хотим, фонетическое и семантическое представления предложений, а осуществляют эту связь трансформации в синтаксическом компоненте и способ организации фонологического и семантического компонентов для выполнения действий, соответственно, над поверхностным НС-показателем и порождающими его глубинными.

4. Преимущества теории языка как отправного пункта философского анализа

Преимущества, которые мы получаем, выбирая теорию языка в качестве базиса для изучения философских проблем, строго дополнительные к упомянутым выше недостаткам логического эмпиризма и философии обыденного языка. Во-первых, мы не можем принять философские доказательства, которые опираются на случайные факты искусственных языков или на анализ употреблений отдельных, произвольно отобранных слов и выражений некоторого естественного языка. Если же при решении философских проблем мы опираемся на языковую теорию, то в нашем распоряжении оказывается прочный эмпирический фундамент, на котором можно строить рассуждения в терминах тех эмпирических фактов, которые подкрепляют успешные языковые описания. Ведь использование теоретических конструкций в философских рассуждениях здесь оправдывается в точности теми же фактами, которые оправдывают введение этих конструкций в языковую теорию. Таким образом

мы избегаем трудностей, возникающих из-за отсутствия эмпирического контроля при решении философских проблем и из-за неспособности прояснить и отношения между фактами употреблений языковых единиц и доказательства, проводимые на их основе. Далее, вместо обращения к слишком простым и по большей части никак не объясненным понятиям, в ситуации, когда отсутствует теория, на которую можно было бы сослаться, у нас появляется возможность при решении философских проблем пользоваться широким фондом понятий, которые отражают общую структуру естественных языков и которые эксплицитно определены в формализованной теории языковых универсалий.

Есть и другое преимущество в такой отправной точке. Когда при решении философских проблем мы основываемся на лингвистически универсальных принципах, то это позволяет нам избежать решений, которые получены на основе анализа только какого-то одного естественного языка. Платон и Аристотель свои труды писали на древнегреческом языке, Декарт — на французском, Кант — на немецком, а Юм — на английском, однако философские проблемы, которые составляли предмет их размышлений, касались общих концептуальных структур и не зависели от этих конкретных языков. Поэтому, если философов интересуют именно такие общие проблемы, а не специальные вопросы, связанные лишь с одним конкретным языком, то им не следует сужать область решений этих проблем. Говорить, что решение некоторой философской проблемы в английском языке такое-то и такое-то, столь же абсурдно, как говорить, что изнурительный труд — это такое-то и такое-то условие жизни среди китайцев. Отталкиваясь от теории языка, мы получаем возможность строить свои философские доказательства, используя те понятия, которые являются глубинными для языка вообще, а не понятия, о которых все, что можно сказать, это то, что они, по-видимому, являются глубинными только для какого-то одного конкретного языка. Кроме того, предлагаемые нами решения философских проблем будут более обоснованными, поскольку доводы, которые мы сможем привести в их защиту, будут сильнее, чем если бы мы ограничились данными некоторого конкретного языка (ср. § 3, заключительные замечания).

5. Эпистемологическое и психологическое

Если теория языка является формальной репрезентацией универсальных законов, посредством которых говорящие соотносят речевые сигналы и смысловые обобщения, то очевидно, что она служит экспликацией одного из аспектов человеческих способностей. Это делает

ее в известном смысле теорией психологической. С другой стороны, философская проблема связана с понятийной структурой и основаниями для проверки адекватности когнитивных и оценочных принципов, что делает ее уже не психологической, а эпистемологической теорией в широком смысле слова. Как же тогда языковая теория может предлагать решения философских проблем, если про эти «решения», по всей видимости, даже не ясно, на тот ли тип проблем они направлены?

Сделанное критическое замечание вызвано тем, что обычно не различаются два разных смысла слова «психологический», различие между которыми, в свою очередь, обусловлено противопоставлением *языковой компетенции* говорящего, то есть того, что ему известно о структуре своего языка, реальному *языковому употреблению*, то есть тому, что говорящий делает со своим языком. Языковая теория объясняет языковую компетенцию, а не языковое употребление. Она пытается реконструировать логическую структуру тех законов и правил, которыми свободно владеет говорящий на данном языке. В то же время теория языкового употребления пытается установить роль каждого из тех факторов, которые вступают во взаимодействие с целью производства реальной человеческой речи с ее разнообразными вариациями и отклонениями от идеальных языковых форм. Поэтому эта теория должна рассматривать такие посторонние с точки зрения языка факторы, как объем памяти, перцепционные и моторные ограничения, степень внимания, паузы, степень мотивации, интерес, идиосинкразические и случайные ошибки и т. д. Лингвиста, целью которого является формулировка утверждений об идеальной языковой форме, не подверженной воздействию такого рода возмущающих факторов, можно сравнить с логиком, целью которого является формулировка утверждений об идеальной логической форме, служащей базой для реально осуществляемых человеком дедуктивных выводов, на которые не оказывают влияния никакие посторонние факторы, препятствующие таким выводам.

Итак, существуют два смысла слова «психологический»: при первом из них предметом психологической теории является компетенция, а при втором — употребление. Сделанные выше замечания относятся к решению философской проблемы, полученному из теории, психологической во втором смысле, но эти замечания не применимы к решению, извлеченному из теории, психологической в первом смысле. Теория употребления не может решить такую философскую проблему, как построение индуктивной логики, которая является правильной и обоснованной кодификацией законов недоказуемых выводов в науке и в повседневной жизни. Люди могут быть абсолютно последовательными и непротиворечивыми в проведении недоказуемых выводов, исходя из необоснованных принципов, а могут впадать в противоречия, ис-

пользуя в рассуждениях только логически обоснованные принципы. Хотя теория употребления должна со всей серьезностью подойти к такому поведению, у нее нет средств для его коррекции, потому что она руководствуется неверными принципами и отвергает верные. Напротив, теория компетенции такими средствами обладает. Поскольку она рассматривает языковое употребление лишь как основание для построения идеальной конструкции, она отбрасывает при анализе языкового поведения все возмущающие влияния тех переменных, которые являются посторонними для логической структуры компетенции. В такой теории предусмотрены средства для собственной коррекции в тех случаях, когда или принимаются неверные, или отклоняются верные принципы. А потому считать, что языковая теория не имеет отношения к решению философских проблем, нельзя.

6. Грамматическая и логическая формы

Тем не менее, для того, чтобы установить релевантность теории языка для философии, нужно показать, что она способна предлагать решения важных философских проблем. Одна из самых распространенных проблем такого рода — это проблема различения грамматической и логической формы предложения. Давно известно, что фонетическая или орфографическая реализация многих предложений такова, что никакой их анализ в терминах традиционной таксономической грамматики не может вскрыть истинную концептуальную структуру выражаемых ими пропозиций. Такое признание чуть ли не с неизбежностью привело философов XX века — достаточно назвать такие имена, как, например, Рассел, ранний Витгенштейн, Карнап и Райль, — к поиску философской теории логической формы пропозиций. Они считали, что свою задачу грамматика выполняет, но даже самая лучшая грамматика не является достаточно хорошей, а потому необходима философская теория, которая бы выявила отношения между понятиями, не выявленные при грамматическом анализе.

Это допущение философов вызывает серьезные сомнения, даже если оставить в стороне тот факт, что философские теории особо крупных успехов не достигли. Исходя из анализа тех же ситуаций, когда логическая и грамматическая формы не совпадают, можно прийти к противоположному выводу, а именно что традиционная таксономическая теория грамматики, лежащая в основании философского учения о грамматической форме, является слишком узкой, чтобы вскрыть глубинную структуру предложения, но если ее расширить в соответствующем направлении, то она тоже вполне могла бы обнаруживать

различные факты, касающиеся логической формы. Философы, которые придерживались выше изложенного мнения, просто не учитывали того, что традиционная грамматика — это далеко не самое последнее слово в лингвистике.

Следовательно, альтернативой философской теории логической формы является лингвистическая теория логической формы. Это утверждение нашло поддержку в сравнительно недавней работе Хомского, посвященной синтаксической теории, в которой Хомский показал, что традиционная таксономическая грамматика слишком ограниченная, и по этой причине подверг ее ревизии (см. [Chomsky 1957], а также [Postal 1964 a]). Указанная альтернатива была вызвана критикой Хомского, прямо направленной на те свойства традиционной грамматики, которые не позволяют ей работать с логической формой предложения, или надеждой на то, что в результате пересмотра традиционной грамматики появится теоретический аппарат, который с логической формой сможет справиться.

Традиционное таксономическое описание типов высказываний — это одна размеченная скобочная структура, которая членит высказывания на непрерывные фонетические сегменты и сортирует их составляющие той или иной категории. Суть критики Хомского состоит в том, что такое описание не выделяет многих синтаксических признаков, так как оно не способно идти глубже, чем поверхностная структура предложения. Рассмотрим два предложения (i) *John is easy to leave* 'Джону легко уйти' и (ii) *John is eager to leave* 'Джону хочется уйти'. В традиционном таксономическом описании оба они анализируются одинаково:

$$(John)_{NP}((is)(([easy/eager])_A(to\ leave)_V)_{VP})_S^3)$$

Между тем данный анализ, по терминологии, введенной в Разделе 3, является для (i) и (ii) поверхностным НС-показателем и не раскрывает логического различия между этими предложениями, которое состоит в том, что в (i) *John* — это объект глагола *leave*, а в (ii) — субъект. Рассмотрим теперь предложение (iii) *John knows a kinder person than Bill* 'Джон знает человека, более доброго, чем Билл'. Это предложение является синтаксически неоднозначным, однако в таксономическом описании такого рода неоднозначность отразить нельзя, так как один (поверхностный) показатель не может эксплицировать разные пропозициональные структуры, скрытые за терминами этого неоднозначного

³⁾ Здесь S — предложение, NP — именная группа, VP — глагольная группа, V — глагол, A — прилагательное. — Прим. перев.

предложения. Обратимся, наконец, к обычному императивному предложению типа (iv) *Help him!* 'Помоги ему!'. Его вспомогательные составляющие, такие как эллипсис субъекта и будущее время глагола, тоже нельзя передать в традиционном таксономическом описании, потому что последнее имеет дело только с фонетически или орфографически реально выраженными составляющими предложения⁴⁾.

Недостатки традиционного описания невозможно устранить путем увеличения сложности поверхностного НС-показателя. Ни более изощренная сегментация предложения, ни более детальная классификация составляющих не могут преодолеть внутренние присущую этой форме неспособность представлять реляционную информацию. Тем не менее, у поверхностного НС-показателя в его нынешнем виде тоже есть своя вполне пристойная роль в синтаксическом описании, а именно обеспечить наиболее компактное представление той синтаксической информации, которая необходима для определения фонетического облика предложения. Неправильным является то, что поверхностный НС-показатель — по той причине, что он является единственным типом описания, допускаемым традиционной таксономической теорией грамматики, — вынужден выполнять работу, которую он в принципе не способен выполнять, если считать, конечно, что он по-прежнему должен выполнять свою роль. Решив кардинально исправить сложившееся положение с грамматикой, Хомский сменил представление о грамматике как о множестве процедур сегментации и классификации на представление о ней как порождающей трансформационной системе. В рамках порождающей грамматики Хомский и другие ввели понятие глубинного НС-показателя (см. [Katz, Postal 1964]; [Chomsky 1965])⁵⁾ — логической формы синтаксического описания, адекватно отражающей семантически важные грамматические отношения и показывающей, как предложение обретает свой фонетический облик, благодаря действию трансформационных правил, которые формально заданными операциями порождают поверхностный НС-показатель из соответствующих глубинных. Глубинные НС-показатели дают возможность представить логическое различие между предложениями (i) и (ii) следующим образом:

(I) (((*it*)((*one*)_{NP}((*leaves*)_V(*John*)_{NP})_{VP})_S)_{NP}((*is*)(*easy*))_{VP})_S

(II) ((*John*)_{NP}((*is*)((*eager*))((*John*)_{NP}(*leaves*)_{VP})_S)_Λ)_{VP})_S

⁴⁾ О синтаксической мотивировке утверждения, что обычные императивы содержат такие материально не выраженные составляющие, см. в работе [Postal 1964b].

⁵⁾ Понятие глубинного НС-показателя мы используем здесь в том же самом смысле, что и Хомский.

Грамматические отношения субъект «чего-либо» и объект «чего-либо» в синтаксической теории Хомского определяются на языке под-последовательности конфигураций символов в глубинных НС-показателях. В упрощенном виде эти определения таковы⁶⁾.

В конфигурации форм $((X)_{NP}(V)_{VP})_S$ или $((X)_{NP}((Y)_V(Z)_{NP})_{VP})_S$ X — это субъект глагола Y, а Z — объект глагола Y⁷⁾.

В соответствии с определениями *John* в предложении (i) помечен как объект глагола *leaves*, потому что занимает положение Z, а сам глагол в соответствующей под-последовательности формы (I) занимает положение Y, а в предложении (ii) *John* помечен как субъект глагола *leaves*, так как в соответствующей под-последовательности (II) *John* занимает позицию X, а *leaves* — позицию Y.

Далее, поскольку предложению в трансформационном синтаксическом компоненте можно приписать более чем один глубинный НС-показатель, синтаксическую неоднозначность типа той, что имеет место в предложении (iii), можно представить на языке соответствующих глубинных НС-показателей, трансформационно связанных с одним и тем же поверхностным НС-показателем. Так, поверхностный показатель для (iii), а именно

$$((John)_{NP}(knows)_V((a)(kinder)(person)(than)(Bill))_{NP})_{VP})_S$$

связан с двумя глубинными НС-показателями, каждый из которых имеет общую форму⁸⁾:

$$((John)_{NP}((knows)_V((a)(\dots)_S(person))_{NP})_{VP})_S,$$

но в одном из них на месте многоточия стоит

$$(the\ person)_{NP}((is)(more)(than)((Bill)_{NP}((is)(kind)_A)_{VP})_S(kind)_A)_{VP}.$$

а в другом

$$(the\ person)_{NP}((is)(more)(than)(the)(Bill)_{NP}((knows)_V(the\ person)_{NP})_{VP})_S \\ (person))_{NP}((is)(kind)_A)_{VP})_S(kind)_A)_{VP}$$

Первый показатель соответствует тому пониманию предложения (iii), при котором человек, которого знает Джон, добрее, чем Билл,

⁶⁾ Дальнейшее обсуждение этого вопроса см. в работе [Miller, Chomsky, 1963, 476–480].

⁷⁾ Отметим, что данное определение воспроизводит интуитивное представление о том, что в простом предложении подлежащее — это именная группа, предшествующая глаголу, а дополнение — это именная группа, идущая после глагола. Сужая определение до глубинных НС-показателей, мы получаем возможность иметь единое определение субъекта и объекта для простых и сложных предложений, поскольку сложные предложения в порождающей грамматике описываются как результат соединения простых.

⁸⁾ См. об этом подробнее в [Smith 1961, 342–365].

а второй — пониманию, при котором человек, которого знает Джон, добрее человека, которого знает Билл.

Наконец, фонетически пустые составляющие в случае эллипсиса могут быть прямо указаны в глубинном НС-показателе и сокращены в процессе трансформационной деривации поверхностного НС-показателя. Это позволяет объяснить их синтаксические отношения и семантический вклад, не характеризуя ошибочно поверхностный НС-показатель, что пришлось бы сделать, если бы мы ради возможности такого объяснения его изменяли.

Однако, хотя из приведенных примеров хорошо видно, что различие глубинной и поверхностной синтаксической структуры является важным шагом на пути к интересующему философов различию между логической и грамматической формами, даже полностью усовершенствованный трансформационный компонент не может дать нам весь теоретический аппарат, необходимый для адекватных операций с логической формой. Многие философы вполне справедливо полагали, что анализ логической формы предложения должен не только показывать формальные отношения между составляющими предложения, но также содержать информацию о семантических свойствах и отношениях пропозиций, выражаемых этой формой. В частности, объяснение логической формы предложения должно определять, является ли она (1) *семантически аномальной* (то есть выражает ли вообще какую-либо пропозицию), (2) *семантически неоднозначной* (то есть выражает ли более одного смысла, и если да, то сколько смыслов), (3) *перифразой данного предложения* (то есть, когда два предложения выражают ту же самую пропозицию), (4) *аналитической*, (5) *противоречивой*, (6) *синтетической*, (7) *несовместимой с данным предложением*, (8) *следствием данного предложения или данное предложение из нее следует*, (9) *пресуппозицией данного предложения* и т. д.

То, что одного трансформационного синтаксического компонента не достаточно для выявления и описания таких семантических свойств и отношений, послужило причиной появления концепции семантического компонента порождающей грамматики, специально предназначенной для таких целей [Katz, Fodor 1963, 170–210]⁹⁾; [Katz 1967 a, 129–194]. Эта концепция базируется на представлении о том, что способность говорящего порождать и понимать предложения, которые он никогда не произносил или не слышал, зависит от того, в какой степени он овладел законами и правилами построения значения новых и незнакомых предложений в процессе, при котором значение синтаксически сложных составляющих складывается из значений более

⁹⁾ Статья перепечатана в книге [Katz, Fodor 1964, 479–518].

простых частей. С формальной точки зрения семантический компонент реконструирует эти композиционные законы и правила. Он содержит *словарь*, в котором объясняются значения всех синтаксически атомарных составляющих данного языка, то есть даны представления смыслов *лексических единиц*, и множество *правил проекций*, которые управляют действием комбинаторных механизмов по представлению смыслов сложных составляющих исходя из смысловых представлений тех лексических единиц, из которых эти составляющие образованы. Словарь — это множество *входов*, каждый из которых состоит из лексической единицы, записанной в фонологической форме, и множество *лексических прочтений*. Лексическое прочтение, репрезентирующее один смысл лексической единицы, состоит из множества *семантических маркеров* и *селективного ограничения*.

Семантический маркер — это теоретический конструкт, обозначающий класс эквивалентных концептов. Например, семантический маркер (Физический Объект) обозначает класс понятий, относящихся к материальным предметам, части которых являются смежными в пространстве и во времени и движутся согласованно. Эти понятия приходят в голову каждому из нас, когда мы хотим отличить значения слов типа «стул», «камень», «человек», «здание» и под. от значений слов типа «добродетель», «совместность», «тень», «инерционность» и т. д. Семантические маркеры дают нам возможность сформулировать эмпирические обобщения о смыслах слов (выражений, предложений), потому что, вводя семантический маркер (Физический Объект) в лексическое прочтение каждого слова из первой группы и выводя его из лексических прочтений слов второй группы, мы таким способом достигаем обобщения, состоящего в том, что слова первой группы в этом отношении похожи по своему значению, а слова второй группы не похожи. Селективное ограничение выражает условие, которое формулируется на языке требований наличия или отсутствия определенных семантических маркеров и при котором лексическое прочтение составляющей может комбинироваться с прочтениями других составляющих с тем, чтобы образовать *производное прочтение*, представляющее концептуально согласующиеся смыслы синтаксически сложных составляющих.

Семантический компонент действует на глубинных НС-показателях, превращая их в *семантически интерпретированные глубинные НС-показатели*, которые формально представляют всю информацию о значениях тех предложений, которым они приписаны. Сначала каждая лексическая единица в составе глубинного НС-показателя получает подмножество лексических прочтений из своего словарного входа. Затем правила проекции объединяют лексические прочтения из множеств, приписанных разным лексическим единицам, чтобы далее образовать

производные прочтения, затем производные прочтения объединяются для образования новых прочтений и так далее. Каждое производное прочтение приписывается сложной составляющей, части которой являются составляющими, чьи прочтения были объединены для образования производного прочтения. Таким путем каждая составляющая в глубинном НС-показателе, включая целое предложение, получает множество прочтений, которые раскрывают ее смыслы. Семантически интерпретированный глубинный НС-показатель является, таким образом, глубинным НС-показателем, каждой из скобок которого приписано максимальное множество прочтений (где под «максимальным» имеется в виду то, что это множество содержит каждое прочтение, которое можно образовать с помощью правил проекции, не нарушая селективного ограничения).

Теперь мы можем дать определение понятиям «логическая форма» и «грамматическая форма». *Логическая форма предложения — это множество семантически интерпретированных глубинных НС-показателей, а грамматическая форма предложения — это поверхностный НС-показатель вместе со своим фонетическим представлением.* Следовательно, синтаксический и семантический компоненты образуют теорию логической формы данного языка, а синтаксический и фонологический компоненты образуют теорию его грамматической формы. Аналогично, синтаксическая и семантическая теории составляют теорию логической формы для языка вообще, а синтаксическая и фонологическая теории образуют теорию грамматической формы для языка вообще.

7. Семантические свойства и отношения

Семантическая теория, однако, помимо исчерпывающего описания и объяснения различий между логической и грамматической формами, решает также много других задач. В частности, она предлагает решение философских проблем экспликации понятий, которые были перечислены выше в пунктах (1)–(9). Определения этих понятий, таким образом, являются дополнительным аргументом в пользу основного тезиса, который я здесь защищаю.

Оставив в стороне синтаксически омонимичные предложения и сосредоточив свое внимание на предложениях, синтаксически однозначных, мы можем теперь изложить общую идею всех таких определений. Во-первых, предложение семантически аномально именно в том случае когда множество прочтений, которые ему приписаны — пустое. Этот факт представляет собой формальную экспликацию идеи о том, что причиной, по которой предложение не может быть семантически проинтерпретировано, является концептуальная несовместимость

смыслов его частей, препятствующая их соединению в смысл целого предложения. Во-вторых, предложение семантически уникально, то есть выражает в точности одну пропозицию, только в том случае, когда множество приписанных ему прочтений является одноэлементным. В-третьих, предложение семантически неоднозначно именно в том случае, когда множество приписанных ему прочтений содержит n элементов, где $n > 1$. В-четвертых, одно предложение является перифразом другого, когда множества приписанных им прочтений содержат общий элемент. В-пятых, два предложения являются полными перифразами друг друга только в том случае, когда каждому из предложений приписано одно и то же множество прочтений. В-шестых, предложение является аналитическим, если существует такое приписанное ему прочтение, которое складывается из прочтений, приписанных субъекту и глаголу этого предложения, и прочтение глагола не содержит ни одного семантического маркера, которого бы не было в прочтении субъекта¹⁰). Наконец, одно предложение является следствием другого, если каждый семантический маркер в прочтении субъекта (подлежащего) второго предложения уже содержится в прочтении субъекта первого предложения. А каждый семантический маркер в прочтении глагольной группы второго предложения уже содержится в прочтении глагольной группы первого предложения¹¹).

Адекватность этих определений для решения философских проблем, для которых эти определения предназначались, всецело зависит от их эмпирической проверки. Поскольку данные определения являются частью семантической теории, а последняя — есть часть теории языка, их проверка должна осуществляться по тем же параметрам, что и проверка любых других языковых универсалий. А именно, эмпирическая оценка этих определений зависит от того, насколько хорошо они предсказывают семантические свойства предложений различных

¹⁰) Мы приводим здесь упрощенный вариант определения аналитического предложения, которое было дано в работах [Katz 1964] и [Katz 1966]. Понятие аналитичности можно рассматривать как лингвистически систематизированный вариант того же понятия у Канта, но с двумя уточнениями: первое — это то, что вместо нескольких неопределенных и узких понятий субъекта и предиката у Канта вводятся формально определенные грамматические отношения *субъект предложения S* и *глагольная группа предложения S*, а второе — что метафорические понятия концепта и вместилища заменены их формальными аналогами, а именно прочтение и вхождение одного множества семантических маркеров в другое. Такие семантические свойства, как противоречивость, синтетичность или несовместимость, тоже можно определить чисто формально, однако здесь мы этого делать не будем, так как это потребовало бы от нас описания и уточнения очень многих чисто технических деталей.

¹¹) Условное предложение является аналитическим именно в том случае, когда его антецедент включает его консеквент.

естественных языков и смысловые отношения между ними. Если у нас имеется семантически интерпретированный НС-показатель предложения *S* языка *L* и определение семантического свойства *P* или отношения *R*, то мы можем вывести заключение, обладает ли предложение *S* свойством *P* и находится ли *S* в отношении *R* с другими предложениями языка *L*. Этот вывод есть не что иное, как заключение о том, обладает ли семантически интерпретированный глубинный фразовый показатель формальными свойствами, которые требуют определения *P* или *R*. Все подобные предсказания можно проверять, устанавливая, совпадают ли они с тем, как классифицируют предложения свободно владеющие данным языком люди, опираясь на свою наивную языковую интуицию. Следовательно, правильны данные определения или нет, зависит от того, согласуются ли основанные на них прогнозы с суждениями носителей языка *L* по поводу ясных случаев этого языка.

Чтобы снять с этих определений неприятное клеймо, которое автоматически ставится на всех определениях семантических свойств и отношений со времен нападок Куайна на различие синтетических и аналитических предложений (см. [Quine 1953]), я покажу, что критика Куайном определения аналитичности Карнапа к нашему определению аналитичности не приложима. Я выбрал в качестве примера именно это определение из-за большого внимания, которое ему уделяется в литературе, между тем доводы, которые я собираюсь высказать по поводу понятия аналитичности в качестве защиты от критики Куайна, вполне приложимы к аналогичным замечаниям по поводу любого другого семантического свойства или отношения.

Одно из главных замечаний Куайна состояло в том, что данные Карнапом определения аналитичности, противоречия и связанных с ними понятий попросту определяют одно из них через другие по кругу, быстро возвращая нас к исходному понятию, в результате чего все эти понятия остаются необъясненными. Наше определение аналитичности, однако, нельзя обвинить в том, что оно попадает в такой порочный круг, потому что неверно, что в нем участвуют эти или какие-то другие понятия, соотносимые с определяемым. Особенностью приведенных выше определений является то, что в каждом из них определяющее выражение содержит свое, уникальное множество формальных признаков в семантически интерпретированном глубинном НС-показателе. Кроме того, мы никогда не обращаемся к этим определениям в процессе, при котором семантически интерпретированный глубинный НС-показатель получает формальные признаки, составляющие их основу. Далее, Куайн критикует Карнапа также за то, что тот просто помечает предложения как аналитические, нигде не указывая, какие признаки приписываются помеченному так предложению. По мнению Карнапа, термин «анали-

тический» — это всего лишь никак не объясняемый ярлык. Мы же исходим из того, что наличие или отсутствие у предложения пометы «аналитическое» зависит от его семантической структуры, которая задается семантически интерпретированным глубинным НС-показателем. Таким образом, помечая предложение как аналитическое, мы приписываем ему свойство иметь формально описанную в определении семантическую структуру, которое, тем самым, вводит понятие «аналитичность» в теорию языка. Наконец, определение аналитичности, равно как и любых других семантических свойств и отношений, которым в семантической теории даются определения, нельзя обвинять в их чрезмерной узости, потому что, как того требует Куайн, все они формулируются для переменных *S* и *L*. Обобщение этих определений, не зависящее от выбора конкретного языка, обеспечивается тем, что они формулируются в рамках теории языка и даются исключительно на языке семантически интерпретированных глубинных НС-показателей, которые соединены с каждым предложением в каждом языковом описании¹²⁾.

8. Семантические категории

Последняя философская проблема и ее решение в рамках теории языка, которую я хочу здесь рассмотреть, — это проблема семантических категорий, или самых общих классов, по которым распределяются понятия из всех областей знаний. Из всех теорий семантических категорий самой влиятельной была, конечно, теория Аристотеля. Аристотелевские категории относятся к самым абстрактным множествам, куда могут быть включены понятия любого типа. Это предельные, не анализируемые и максимально широкие классы естественных родов, представленные в естественных языках. Аристотель выделил десять (а может быть, восемь) таких категорий: *субстанция, количество, качество, отношение, место, время, положение, обладание, действие и пассивность* (у последних двух категорий статус несколько подозрительный). Однако он не объяснил ни того, как выбирал эти категории, ни того, почему он решил, что больше никакая категория в этот список не входит. Критерий, о котором говорит Аристотель, не дает удовлетворительного объяснения вычленения категорий.

Это критерий такой: каждая категория представляет собой самый общий ответ на вопрос «Что такое/кто такой (что/кто есть) X?». Так, *субстанция* относится к категориям, потому что «субстанция» — это

¹²⁾ Более полное и подробное объяснение того, почему к предложенной мною экспликация аналитичности не применима критика Куайном экспликации аналитичности по Карнану, см. статью [Katz 1967b, 36–52].

самый общий ответ на такой вопрос, как «Что такое Сократ?»/«Кто такой Сократ?». Аналогично, качество — это категория, потому что «качество» — это самый общий ответ на вопросы типа «Что такое зеленый?». Остается, конечно, много сомнений по поводу самих этих ответов, но даже если бы этот критерий и приводил к вполне хорошим результатам в различении классов, которые мы интуитивно считали бы самими абстрактными в нашей концептуальной системе, он ровным счетом ничего бы не сказал нам о природе выделенных категорий. Применение этого критерия опирается на интуитивные представления о том, что является самым общим ответом на тестовый вопрос, а что нет, и эти представления не проявляются ни нам, ни нашим информантам, что именно делает наши суждения о данных концептах правильными. В результате, предполагая, что сущности, которые являются правильными ответами на такие вопросы, это именно те сущности, которые являются самими общими родами в классификации понятий, нам все еще известно о категориях не больше, чем мы знали о них до того, как получили в свое распоряжение распространенное таким способом понятие категории. Критерий Аристотеля опирается на предположение о том, что мы интуитивно понимаем понятие *максимальной общности во множестве возможных концептов* как условие применения критерия, но критерий не раскрывает содержание этого понятия.

Если же мы включим теорию семантических категорий в теорию языка, то сможем получить анализ этого понятия и в результате прийти к более ясному пониманию семантических категорий. Для того, чтобы это сделать, нам надо ответить на вопрос, какими средствами мы сможем различить два множества семантических маркеров, *одно* из которых подмножество множества семантических маркеров, появляющихся в словаре языкового описания некоторого конкретного языка, элементы которого репрезентируют понятия требуемой степени обобщенности в этом языке, а *другое* — подмножество множества универсальных семантических маркеров (как они заданы в семантической теории), элементы которого репрезентируют понятия требуемой степени обобщенности в языке в целом. Другими словами, мы должны иметь некоторый эмпирически мотивированный способ определения семантических категорий данного конкретного естественного языка и семантических категорий естественного языка вообще.

В нашем описании входов лексических единиц в словаре семантического компонента в лексические прочтения каждой единицы входит семантический маркер для каждого независимого концептуального компонента смысла, который данная единица выражает. Но тогда почти каждое лексическое прочтение, формально представленное таким образом, будет отражать смысловую информацию слишком избыточ-

но. Например, смысловые маркеры (Физический Объект) и (Человек) в лексических прочтениях слов и словосочетаний «холостяк», «человек», «старая дева», «ребенок» и др. подчиняются закономерности, управляющей их совместной встречаемостью в одном лексическом прочтении, а именно если в лексическое прочтение входит семантический маркер (Человек), то в нем обязательно также содержится семантический маркер (Физический Объект). Поэтому вхождение семантического маркера (Физический Объект) в лексическое прочтение, содержащее семантический маркер (Человек), является избыточным по отношению к обобщающему правилу, говорящему о том, что наличие в лексическом прочтении второго из них с необходимостью предполагает наличие первого. Между тем, в том, как мы до сих пор описывали словарь, нет места для подобных обобщений. Иначе, в настоящий момент у нас нет способа отразить эту закономерность в формальном изложении семантической теории, так что избыточность маркера (Физический Объект) во всех таких случаях является вынужденной, поскольку в словаре мы должны описывать смыслы слов исчерпывающим образом. Не имея формальных средств выразить подобные регулярные соотношения, мы, следовательно, упускаем возможность важных обобщений в языковых описаниях, построенных в соответствии с семантической теорией, и за это нас вполне справедливо можно критиковать. Ведь при наличии таких средств можно было бы вполне обойтись без реального присутствия семантического маркера (Физический Объект) в лексических прочтениях слов «холостяк», «человек», «старая дева» и под., потому что его наличие в них предсказывалось бы вхождением в них семантического маркера (Человек) и общим правилом, говорящим о том, что в лексическом прочтении никогда не бывает семантического маркера (Человек), если в нем нет маркера (Физический Объект). Больше того, данный случай не единичный. Можно не только сформулировать более широкое обобщающее правило, покрывающее все случаи вхождения маркера (Физический Объект), а именно, что он присутствует во всех лексических прочтениях, в которых имеются маркеры (Человек), (Животное), (Растение), (Артефакт) и т.д., но и правила, связывающие другие семантические маркеры аналогичными общими закономерностями, например, маркер (Животное) всегда появляется там, где есть маркер (Млекопитающее). Поэтому, если мы не найдем какие-то способы формально выразить все общие закономерности, регулирующие совместные появления семантических маркеров, и устранить ненужные повторы, то словарь, содержащий тысячи самых разных входов, будет невероятно избыточен в определении смысла лексических единиц.

Очевидный путь, по которому можно пойти в поисках средств, которые бы сделали словарные входы более экономными, это расширить

представление о словаре, изложенное в Разделе 6, так, чтобы теперь в него входили бы правила, фиксирующие все подобные обобщения и дающие нам возможность исключить избыточные семантические маркеры из лексических прочтений. В самом общем виде эти правила имеют вид

$$(M_1) \vee (M_2) \vee \dots \vee (M_n) \rightarrow (M_k)$$

где (M_k) отлично от каждого (M_i) , $1 \leq i \leq n$, а \vee — знак дизъюнкции. Рассмотренный выше случай — это пример применения правила такого типа.

$$(M_1) \vee (M_2) \vee \dots \vee (\text{Человек}) \vee (\text{Животное}) \vee (\text{Растение}) \vee (\text{Артефакт}) \vee \dots \vee (M_n) \rightarrow (\text{Физический Объект})$$

Пополняя словарь этим правилом, мы получаем возможность воспользоваться преимуществами такого обобщения и сократить лексические прочтения, содержащие один из семантических маркеров (M_1) , (M_2) , ..., (Человек), (Животное), (Растение), (Артефакт), ..., (M_n) , не включая в них семантический маркер (Физический Объект). Все такие правила в совокупности составят новый компонент словаря, у которого список входов теперь может содержать только лексические единицы в максимально редуцированной форме. Функция этих правил, таким образом, заключается в компрессии прочтений словарных входов и более экономном словарном представлении лексической информации о данном языке.

Достаточно о формализме. Правила, устраняющие избыточность, или *правила избыточности*, не только упрощают построение словаря и изложение важных лексических обобщений, но и отражают отношения включения между семантическими маркерами, поскольку эти правила можно интерпретировать как утверждения о том, что понятия, представленные семантическими маркерами слева от стрелки, включены в понятие, (или отнесены к понятию), представленное семантическим маркером справа от стрелки. Здесь, следовательно, по отношению к семантическим категориям используется тот же самый формализм. Воспользовавшись правилами избыточности в словаре описания языка L , мы можем формально определить, какие из семантических маркеров в этом описании отражают семантические категории языка L . *Под семантической категорией языка L мы будем понимать любое понятие, представленное семантическим маркером, которое стоит справа от некоторой стрелки правила в списке правил избыточности в словаре языкового описания языка L , но которое не стоит слева ни у одной такой стрелки.* Таким образом, чтобы найти семантические категории данного языка L , следует просто просмотреть список всех правил избыточности в языковом описании L и отобрать те семантические маркеры,

которые удовлетворяют одновременно двум условиям: (а) существует по крайней мере одно такое правило, которое говорит о том, что данный маркер включает в себя другие маркеры, и (б) не существует правила, которое бы говорило, что данный маркер сам включен в другие маркеры. Это определение важно по следующим двум причинам. Во-первых, оно позволяет формально уточнить понятие семантической категории для данного языка относительно его языкового описания; во-вторых, оно позволяет проверить эмпирические утверждения о том, что те или иные понятия являются семантическими категориями данного языка. Такого рода проверка множества кандидатов в семантические категории по сути дела направлены на установление того факта, что никакое более простое представление лексических прочтений в словаре языка L не задается правилами избыточности, отличными от тех, которые, согласно сформулированному выше определению семантических категорий языка L , порождают это множество предполагаемых семантических категорий. Такая эмпирическая проверка мало чем отличается от тех проверок, к которым обращаются другие науки, когда в них утверждается, что некоторое теоретическое объяснение является наилучшим, потому что в нем использованы наиболее простые законы, описывающие изучаемое явление.

Теперь, опираясь на все эти соображения, мы можем также дать определение семантическим маркерам, репрезентирующим семантические категории языка вообще, то есть семантические категории всех естественных языков в противопоставлении семантическим категориям некоторого конкретного естественного языка. *Семантические категории языка вообще — это понятия, которые представлены семантическими маркерами, принадлежащими пересечению множества семантических категорий каждого из естественных языков L_1, L_2, \dots, L_n , и полученные в соответствии с правилами избыточности в словарях языковых описаний языков L_1, L_2, \dots, L_n указанным выше способом.* Другими словами, семантическая категория языка — это понятие, отображаемое семантическим маркером, который находится во всех без исключения множествах семантических категорий конкретных естественных языков. Важность этого определения обусловлена теми же причинами, что и предыдущего. Во-первых, оно дает нам формальные средства для определения категорий языка, а во-вторых, оно представляет собой четко очерченный эмпирический базис, позволяющий решить вопрос, что такое семантическая категория языка вообще. Проверку истинности утверждения о том, что данное понятие является семантической категорией языка вообще, можно осуществить путем анализа тех же самых фактов, которые подтверждали или опровергали утверждение о том, что оно является семантической категорией языков L_1, L_2, \dots, L_n .

В заключение отмечу, что необъясненное Аристотелем понятие максимальной степени обобщенности, на котором основано его учение о категориях, получает здесь формальное объяснение через принадлежность к множеству семантических маркеров, образованных пересечением всех множеств семантических маркеров, которые являются семантическими категориями естественных языков. При этом каждый семантический маркер данного естественного языка получен согласно условию, по которому он всегда стоит в правой части какого-то правила избыточности, но не в левой части каждого из таких правил.

9. Область релевантности

Если высказанные в настоящей статье соображения, опирающиеся на положение о том, что теория языка необходима для решения многих философских проблем, верны, то тогда вполне естественно спросить, для каких философских проблем теория языка *не нужна*. То, что эти проблемы существуют, сомневаться не приходится; достаточно назвать такие области, как философия математики или философия науки вообще, где очень много проблем подобного рода. Было бы поэтому крайне желательно сформулировать какой-нибудь удобный критерий, который позволил бы нам про каждую философскую проблему сказать, связана ли она по своей сути с глубинной понятийной структурой естественных языков или с чем-то еще. Трудно, однако, поверить, что такой критерий вообще удастся отыскать, поскольку мало того, что на философских проблемах, с которыми мы сталкиваемся, не написано, лингвистические они или нелингвистические, но даже если бы в нашем распоряжении была законченная и вполне развитая теория языка, потребовалось бы еще очень много дальнейших исследований, для того, чтобы определить, относится ли некоторый фрагмент этой теории к данному философскому вопросу, и еще больше усилий понадобилось бы затратить на то, чтобы доказать, что теория языка дает правильный ответ на него.

До сих пор мы рассматривали только одно из возможных пониманий релевантности языковой теории к философским вопросам. В заключение мне хотелось бы остановиться на другом понимании отношения лингвистики к философии, а именно на том, которое не зависит от теории языка, предлагающей нам аппарат для ответа на философские вопросы.

Проблема врожденных идей, ключевой предмет спора между эмпириками и рационалистами, является той проблемой философии, к которой теория языка имеет важное отношение, хотя и несколько

отличное от того, о котором все время шла речь выше¹³⁾. Эту проблему можно переформулировать в виде вопроса о том, какое из объяснений процесса овладения родным языком лучше — то, которое основано на эмпирической гипотезе, что человеческий разум исходно является *tabula rasa*, или то, которое основано на рационалистской гипотезе, что в человеческом разуме изначально содержится большое число устоявшихся наследственных идей и закономерностей, определяющих общую форму естественно-языковых правил. Если считать, что внутреннее представление языковых правил в мозгу ребенка возникает из сведений о языке, которые ребенок получает в процессе своего развития, то тогда мозг ребенка можно рассматривать как черный ящик, входом в который являются сведения о конкретном языке, а выходом — усвоенное языковое описание. Мы можем поэтому поставить вопрос иначе, а именно: какая из двух гипотез лучше объясняет работу такого черного ящика, — эмпирическая, говорящая о том, что усвоение языка происходит в результате обработки сенсорных данных на основании принципов ассоциативного обучения, или рационалистская, утверждающая, что усвоение языкового описания есть результат овладения ребенком внутренней системой законов, активизированных соответствующими сенсорными раздражителями. У нас есть абсолютно ясное представление об ассоциативных принципах, которые эмпирик хочет приписать разуму ребенка еще до приобретения им какого-либо жизненного опыта, но совершенно не понятно, какими должны быть, по мнению рационалистов, врожденные, принципы и законы, касающиеся общей формы языка. Отсюда — релевантной будет та теория языка, которая устанавливает закономерности, необходимые, чтобы формулировать рационалистическую гипотезу в специальных терминах. Вопрос, таким образом, заключается в том, следует ли признать плодотворной идею объяснять процесс овладения языком врожденной структурой так, как она представлена в объяснении языковой теории языковых универсалий.

Отметим, однако, что, хотя данный вопрос, являющийся собой переформулировку проблемы врожденных идей, можно в явном виде поставить лишь тогда, когда теория языка предоставляет в распоряжение рационалистов понятие врожденной структуры, ответа на этот вопрос теория языка не дает. Поскольку решение вопроса о том, какая из двух гипотез лучше подкреплена доступной ребенку лингвистической информацией и тем, как он ее обрабатывает, лежит вне сферы языковой теории, последняя совсем не подкрепляет позицию рационалистов перед эмпириками.

¹³⁾ Более подробное обсуждение проблемы врожденных идей см. главу 5 моей книги [Катц 1966].

Мы остановились на этом вопросе не только для того, чтобы показать, что релевантность теории языка для философии шире, чем область решений философских проблем. Нам хотелось также показать, что теория языка может иметь отношение к философии совсем в другом смысле, а именно предоставлять средства, с помощью которых философскую проблему удастся переформулировать так, чтобы она легче поддавалась решению. Вопрос о том, является ли теория языка релевантной для философии в каких-то еще отношениях, по сей день остается открытым и может стать предметом дальнейших философских и лингвистических исследований.

VII

Симпозиум по врожденным идеям*

(а) Современные исследования по теории врожденных идей**

Н. Хомский

Резюме устного доклада

Я думаю, что будет полезно разделить два вопроса в обсуждении настоящей темы — один из них это вопрос исторической интерпретации, а именно, в чем состояло содержание классического учения о врожденных идеях (innate ideas), скажем, у Декарта или Лейбница; второй это сущностный вопрос, а именно, что мы можем сказать о предпосылках усвоения языка в свете доступной в настоящее время информации — какие допущения мы можем сделать относительно психологически априорных принципов, которые определяют характер обучения и природу того, что усваивается.

Эти вопросы независимы; каждый из них по-своему интересен, и я скажу несколько слов о каждом. При этом я бы хотел выдвинуть то предположение, что теория психологических априорных принципов, которой придерживаются современные исследования, имеет разительное сходство с классическим учением о врожденных идеях. Следует, тем не менее, четко понимать раздельность этих вопросов.

Частный аспект сущностного вопроса, который я собираюсь рассматривать, это проблема усвоения языка. Я думаю, что рассмотрение природы языковой структуры может пролить свет на некоторые классические проблемы относительно происхождения идей.

Чтобы разработать основу для обсуждения, рассмотрим задачу построения модели усвоения языка, абстрактного «устройства усвоения языка» (language-acquisition device), которое в некоторых аспектах повторяет достижения человека, успешно овладевающего языковой ком-

* Из: *Boston Studies in the Philosophy of Science*, vol. III. New York: The Humanities Press, 1968. P. 81–107.

** *Chomsky Notes*. Recent contributions to the theory of innate ideas.

петенцией. Мы можем представить это устройство в виде системы входа-выхода:

данные \rightarrow УЯ \rightarrow знание.

Чтобы исследовать сущностный вопрос, мы сначала попытаемся определить природу выхода во многих случаях, а затем определить характер функции, связывающей вход с выходом. Заметим, что это сугубо эмпирический вопрос; здесь нет места каким-либо догматическим или произвольным утверждениям о внутренней, врожденной структуре устройства УЯ. Эта проблема совершенно аналогична проблеме изучения врожденных принципов, которые позволяют птице приобретать знание, проявляющееся в постройке гнезд или пении. Не существует способа определить на априорном основании, в какой степени в эти действия вовлечен такой компонент, как инстинкт. Чтобы изучить этот вопрос, мы должны были бы попытаться определить по поведению взрослого животного, какова именно природа его компетенции, и затем мы должны были бы построить гипотезу второго порядка о тех врожденных принципах, которые приводят к этой компетенции на основе предоставляемых данных. Мы могли бы углубить исследование, воздействуя на входные условия, тем самым расширяя информацию, связанную с данным отношением входа-выхода. Сходным образом, в случае усвоения языка мы можем провести аналогичное исследование усвоения языка при разнообразии входных условий, например, с привлечением данных из различных языков.

В любом случае, как только мы выработали некоторое понимание природы приобретаемой в результате компетенции, мы можем обратиться к исследованию врожденных мыслительных функций, которые обеспечивают усвоение компетенции. Заметим, что условия данной задачи задают верхнюю границу и нижнюю границу той структуры, которую мы можем предполагать в качестве врожденной в устройстве усвоения. Верхняя граница создается за счет разнообразия компетенции, получаемой в результате, — в нашем случае, разнообразия языков. Мы не можем навязывать нашему устройству требования такой структуры, чтобы при этом исключалось усвоение каких-либо из засвидетельствованных языков. Так, мы не вправе предположить, что врожденными для данного устройства являются специфические правила английского языка и только они, поскольку это будет несообразно с тем фактом, что китайский язык может быть усвоен столь же легко, как и английский. С другой стороны, мы должны приписать этому устройству достаточно богатую структуру, чтобы выход мог быть получен в рамках наблюдаемых пределов времени, данных и доступа.

Повторю, не существует оснований для каких-либо догматических утверждений о природе УЯ. Единственными условиями, которые мы должны учитывать при разработке подобной модели врожденной умственной способности (*mental capacity*), являются те, которые происходят из разнообразия языков и из необходимости выработать эмпирически засвидетельствованную компетенцию в рамках наблюдаемых эмпирических условий.

Как только мы сталкиваемся с проблемой тщательной разработки подобной модели, тут же становится очевидно, что далеко не просто сформулировать гипотезу о врожденной структуре, достаточно мощную для того, чтобы она была способна удовлетворить условию эмпирической адекватности. Компетенция взрослого, или даже маленького ребенка, такова, что мы должны приписать ему такое знание языка, которое намного превосходит все, что он когда-либо выучил. По сравнению с числом предложений, которое ребенок может с легкостью построить или понять, число секунд в человеческой жизни до смешного мало. Отсюда видно, что данные, которые доступны в качестве ввода, представляют собой всего лишь незначительный образец того языкового материала, которым человек полностью овладел, на что указывает реальное употребление. Более того, огромное разнообразие входных условий не ведет к широкому разнообразию в итоговой компетенции, насколько мы можем это обнаружить. Более того, значительное разнообразие в умственных способностях оказывает лишь небольшое влияние на итоговую компетенцию. Далее, мы наблюдаем, что потрясающее интеллектуальное достижение, которым является усвоение языка, осуществляется в тот период времени, когда ребенок мало на что другое способен, и что эта задача находится полностью за пределами возможностей человекообразной обезьяны, в других отношениях вполне разумной. Подобные наблюдения приводят к тому, что с самого начала у нас возникает подозрение, что мы имеем дело со специфической видовой особенностью, имеющей значительный врожденный компонент. Мне кажется, что это начальное ожидание хорошо поддерживается глубоким изучением языковой компетенции. Существует несколько аспектов нормальной языковой компетенции, которые являются ключевыми для данного обсуждения.

I. Творческий аспект использования языка

Данным выражением я обозначаю способность производить и интерпретировать новые предложения вне зависимости от «контроля стимула» (*stimulus control*) — т. е. внешних стимулов или независимо распознаваемых внутренних состояний. Обычное использование языка

является в этом смысле «творческим», на что многократно указывалось в традиционной рационалистской теории языка. Предложения, используемые в повседневной речи, не являются «знакомыми предложениями» или «обобщениями о знакомых предложениях» в терминах какого-либо из известных процессов обобщения. В сущности, абсурдно даже говорить о «знакомых предложениях». Та идея, что предложения или формы предложений выучиваются по ассоциации или по обусловливанию (conditioning)¹⁾ или благодаря «тренировке», как предлагалось в недавних бихевиористских рассуждениях, полностью расходится с очевидным фактом. В более общем виде, важно понимать, что ни в каком формальном смысле слова употребление языка не может рассматриваться как вопрос «привычки», а язык не может рассматриваться как «совокупность вариантов для ответной реакции».

Компетенция человека может быть представлена в виде *грамматики*, которая является системой правил, устанавливающих взаимные соответствия (pairing) между семантическими и фонетическими интерпретациями. Очевидным образом, эти правила действуют в бесконечных пределах. Как только человек овладел этими правилами (конечно, бессознательно), он в принципе способен использовать их для приписывания семантических интерпретаций сигналам вполне независимо от того, поступают к нему они целиком или их части, в том случае, если они состоят из элементарных единиц, которые он знает и которые объединяются по правилам, которые он усвоил. Центральная проблема в разработке устройства усвоения языка заключается в том, чтобы показать, как может возникнуть такая система правил при тех данных, которые доступны ребенку. Чтобы получить хоть какую-то ясность в этом вопросе, естественно обратиться к более глубокому исследованию природы грамматик. Я думаю, в последние годы был достигнут подлинный прогресс в нашем понимании природы грамматических правил и способа их функционирования при приписывании семантических интерпретаций фонетически представленным сигналам; стало ясно, что именно в этой области можно обнаружить результаты, которые имеют некоторое отношение к природе устройства усвоения языка.

II. Абстрактность принципов интерпретации предложения

Грамматика состоит из синтаксических правил, которые порождают некоторые лежащие в основе абстрактные сущности, и правил

¹⁾ Обусловливание (психол.) — установление связи между стимулом и реакцией. — Прим. перев.

семантической и фонологической интерпретации, которые приписывают внутреннее значение и идеальную фонетическую репрезентацию этим абстрактным сущностям.

Более конкретно, рассмотрим предложение *The doctor examined John* 'Врач осмотрел Джона'. Фонетическая форма этого предложения зависит от внутренних фонологических свойств его минимальных единиц (*the* опред. артикль, *doctor* 'врач', *examined* 'осмотрел', *John* 'Джона'), скобочной разметки предложения (а именно, $[[[the] [doctor]] [[examined] [John]]]$) и тех категорий, к которым относятся размеченные элементы (то есть, в данном случае к категориям «Предложение», «Именная Группа», «Глагол», «Имя Существительное», «Детерминатор (Determiner)»). Мы можем определить «поверхностную структуру» предложения как его размеченную скобочную запись, где скобкам приписаны соответствующие ярлыки из заданного, универсального множества. Ясно, что грамматические отношения (например, «быть Подлежащим», «быть Дополнением» и т. п.) могут быть определены в терминах подобной скобочной записи. Определив таким образом термины, мы можем утверждать, что существует весомое свидетельство того, что фонетическая форма предложения определяется его размеченной скобочной записью при помощи фонологических правил, которые действуют в согласовании с некоторыми очень абстрактными, но вполне универсальными принципами расположения и организации.

Значение предложения *The doctor examined John* 'Врач осмотрел Джона', очевидным образом, определяется из значений его минимальных единиц по некоторым общим правилам, которые используют грамматические отношения, выраженные через размеченную скобочную запись. Определим «глубинную структуру» предложения как такую размеченную скобочную запись, которая определяет его внутреннее значение путем применения правил семантической интерпретации. В только что рассмотренном примере мы не были бы совсем неправы, если бы сочли глубинную структуру идентичной с поверхностной структурой. Однако очевидно, что эти структуры не могут быть отождествлены в общем случае. Так, рассмотрим несколько более сложные предложения: *John was examined by the doctor* 'Джон был осмотрен врачом'; *Someone persuaded the doctor to examine John* 'Кто-то убедил врача осмотреть Джона'; *The doctor was persuaded to examine John* 'Врача убедили осмотреть Джона'; *John was persuaded to be examined by the doctor* 'Джона убедили быть осмотренным врачом'. Очевидно, что грамматические отношения между *doctor* 'врач', *examined* 'осмотрел' и *John* 'Джон', как они выражены в глубинной структуре, должны оставаться во всех этих

примерах такими же, как и отношения в *The doctor examined John* 'Врач осмотрел Джона'. Однако поверхностные структуры будут значительно различаться.

Более того, рассмотрим следующие два предложения:

Someone expected the doctor to examine John 'Кто-то ожидал, что врач осмрит Джона',

Someone persuaded the doctor to examine John 'Кто-то убедил врача осмотреть Джона'.

В этом случае очевидно, что за сходством поверхностных структур скрывается значительное различие в глубинных структурах, что мы можем сразу же заметить, заменив *the doctor to examine John* '(что) врач осмрит Джона' на *John to be examined by the doctor* '(что) Джон будет осмрит врачом' в каждом из двух случаев²⁾.

До сих пор я сделал только отрицательное утверждение, а именно то, что глубинная структура отлична от поверхностной структуры. Гораздо более важен тот факт, что существуют весомые свидетельства для конкретного решения проблемы того, как именно связаны глубинная и поверхностная структуры и как глубинная и поверхностная структуры формируются синтаксическим компонентом грамматики. Подробности этой теории не должны нас беспокоить в данный момент. Ее ключевым свойством, которое кажется неизбежным, является то, что она предусматривает формальные преобразования над структурами, которые в высшей степени абстрактны в том смысле, что их отношение к сигналам определяется длинной цепочкой формальных правил и что, вследствие этого, у них нет ничего и отдаленно похожего на поэлементное соответствие сигналам. Так, предложения могут иметь очень сходные лежащие в основе структуры, несмотря на огромное различие в материальной форме, и различные лежащие в основе структуры, несмотря на сходство в поверхностной форме. Теория усвоения языка должна объяснять, как это знание абстрактных глубинных форм и управляющих ими принципов оказывается усвоенным и свободно используется.

²⁾ В первом из предложений дополнением при глаголе *expect* 'ожидать (что)' является вся группа *the doctor to examine John* целиком, поэтому подстановка вместо него другой аналогичной группы *John to be examined by the doctor* не меняет глубинной структуры предложения: ср. *someone expected [John to be examined by the doctor]* 'кто-то ожидал, что [Джон будет осмрит врачом]'. Во втором предложении дополнением при глаголе *persuade* 'убедить (кого)' является только именная группа *the doctor* 'врач', поэтому подстановка в него группы *John to be examined by the doctor* невозможна без изменения глубинной структуры, ср.: *someone persuaded John to be examined by the doctor* 'кто-то убедил Джона быть осмритым врачом'. — Прим. перев.

III. Универсальный характер языковой структуры

Насколько позволяют судить доступные данные, мне представляется, что очень строгие условия, налагаемые на форму грамматики, являются универсальными. Глубинные структуры кажутся очень сходными от языка к языку, и также кажется, что правила, которые управляют ими и интерпретируют их, относятся к очень узкому классу возможных формальных операций. Не существует априорной необходимости для языка быть устроенным столь специфическим и в высшей степени необычным образом. Нет такого понимания «простоты», при котором подобное устройство языка могло бы быть разумным образом описано как «наиболее простое». Отсутствует какое-либо содержание и в утверждении о том, что это устройство в некотором смысле «логично». Более того, было бы совершенно невозможно утверждать, что данная структура является всего лишь второстепенным следствием «общего происхождения». Безотносительно к вопросам исторической точности, достаточно заметить, что эта структура должна быть заново открыта каждым ребенком, который выучивает язык. Более точно, задача заключается в том, чтобы установить, как ребенок устанавливает, что структура его языка обладает теми специфическими характеристиками, к постулированию которых приводит нас эмпирическое исследование языка, при тех скудных данных, которые он получает. Заметим, кстати, что эти данные не только скудны по объему, но и крайне неудовлетворительны (*degenerate*) по качеству. Тем самым, ребенок выучивает принципы образования предложений и интерпретации предложений на основе такого корпуса данных, который состоит, в большой степени, из предложений, отклоняющихся по форме от идеализированных структур, которые определены постигаемой им грамматикой.

Вернемся теперь к проблеме создания устройства усвоения языка. Доступные свидетельства показывают, что выходом данного устройства является система рекурсивных правил, которая обеспечивает основу для творческого характера использования языка и которая управляет в высшей степени абстрактными структурами. Более того, эти лежащие в основе абстрактные структуры и те правила, которые к ним применяются, обладают чрезвычайно ограниченными свойствами. Эти свойства кажутся единообразными для языков и для различных индивидуумов, говорящих на одном языке, и кажутся неизменными по отношению к умственным способностям и индивидуальному опыту. Инженер, столкнувшись с проблемой разработки устройства, удовлетворяющего заданным условиям входа и выхода, пришел бы к естественному заключению, что основные свойства выхода являются следствием конструкции этого устройства. Насколько я могу видеть, не существует

какой-либо убедительной альтернативы этому допущению. Говоря более конкретно, упомянутые мною свидетельства приводят нас к тому выводу, что данное устройство тем или иным способом включает в себя: фонетическую теорию, которая определяет класс возможных фонетических репрезентаций; семантическую теорию, которая определяет класс возможных семантических репрезентаций; программу, которая определяет класс возможных грамматик; общий метод интерпретации грамматик, который приписывает семантическую и фонетическую интерпретацию каждому предложению, при наличии грамматики; метод оценки, который приписывает некоторую степень «сложности» грамматикам.

При подобном описании процесс приобретения знания языка таким устройством мог бы выглядеть следующим образом: имеющаяся программа грамматики определяет класс возможных гипотез; метод интерпретации позволяет провести проверку каждой гипотезы на поступающих данных; мерой оценки выбирается наиболее высоко оцененная грамматика, совместимая с данными. Когда гипотеза — конкретная грамматика — выбрана, обучающийся знает язык, определенный данной грамматикой; в частности, он способен ставить в соответствие семантические и фонетические интерпретации для неограниченного числа предложений, которые он никогда не воспринимал. Таким образом, его знание распространяется гораздо дальше его опыта и не является «обобщением» на основе его опыта в каком-либо значимом смысле слова «обобщение» (за исключением того тривиального смысла, который определен внутренней структурой устройства усвоения языка).

Следуя по этому пути, можно искать гипотезу об усвоении языка, которая вписывалась бы между верхним и нижним пределами, обсуждавшимися выше и установленными самим характером этой задачи. Очевидно, для того, чтобы произошло обучение языку, класс возможных гипотез — программа грамматики — должен быть сильно ограничен.

Данная характеристика является схематичной и идеализированной. Мы можем наполнить ее содержанием, определив систему усвоения языка согласно тому, как было обрисовано выше. Я думаю, что, следуя в данном направлении, можно дать очень правдоподобное и конкретное описание, однако здесь не самое подходящее место развивать подробнее этот вопрос, развернутое обсуждение которого содержится во многих работах по трансформационной порождающей грамматике.

До сих пор я обсуждал лишь сущностный вопрос о предпосылках усвоения знания языка, о тех априорных принципах, которые определяют, как и в каком виде приобретается такое знание. Теперь же я попытаюсь поместить это обсуждение в исторический контекст.

Прежде всего, я упомянул три ключевых аспекта языковой компетенции: (1) творческий характер использования языка; (2) абстракт-

ную природу глубинной структуры; (3) очевидную универсальность чрезвычайно специфической системы механизмов, формализованных в настоящее время в виде трансформационной грамматики. Интересно заметить, что эти три аспекта языка обсуждаются в рационалистической философии XVII века и у ее последователей, и что лингвистические теории, которые были разработаны в рамках этой дискуссии, по сути являются теориями трансформационной грамматики.

Следовательно, было бы исторически корректно охарактеризовать только что обрисованные взгляды на языковую структуру как рационалистическую концепцию природы языка. Более того, я вновь использовал ее, в ее классическом виде, для обоснования того, что по праву может быть названо рационалистической концепцией усвоения языка, если мы примем в качестве сути данной точки зрения то, что общий характер знания, категории, в которых оно выражается или внутренне представлено, и основные принципы, лежащие в ее основе, определяются природой разума. В нашем случае тот схематизм, который приписан в качестве врожденного свойства устройству усвоения языка, определяет и форму знания (в одном из многих традиционных смыслов слова «форма»). Роль опыта состоит лишь в том, чтобы заставить врожденный схематизм действовать и затем видоизменяться и формироваться определенным способом.

Резко отличны от рационалистической точки зрения классические эмпиристские положения о том, что врожденными являются: (1) некоторые элементарные механизмы периферийной обработки данных (система органов чувств) и (2) некоторые аналитические механизмы, или индуктивные принципы, или механизмы ассоциации. Здесь утверждается, что предварительный анализ опыта обеспечивается периферийными механизмами обработки и что понятия и знания человека, помимо этого, усваиваются путем применения врожденных индуктивных принципов к этому изначально проанализированному опыту. Тем самым, только процедуры и механизмы усвоения знания представляют собой врожденное свойство. По поводу усвоения языка имелось множество эмпиристских размышлений о том, каковы могут быть эти механизмы, однако единственная относительно ясная попытка выработать какое-либо его специальное описание обнаруживается в современной структурной лингвистике, которая попыталась разработать системы индуктивных аналитических процедур сегментации и классификации, которые могут быть применены к данным для того, чтобы определить грамматику. Вполне вероятно, что эти методы могли бы быть несколько усовершенствованы до такой степени, чтобы они производили поверхностные структуры многих высказываний. Совершенно невероятно, чтобы они могли бы быть разработаны до такой степени,

чтобы производить глубинные структуры или абстрактные принципы, которые порождают глубинные структуры и связывают их с поверхностными структурами. Это не является вопросом дальнейшего усовершенствования, но требует полностью отличного подхода к проблеме. Сходным образом, трудно представить себе, как расплывчатые предложения об обуславливании и ассоциативных сетях, которые можно обнаружить в философских и психологических рассуждениях эмпиристского толка, могли бы быть развиты или усовершенствованы таким образом, чтобы предусмотреть засвидетельствованную компетенцию. Система правил для порождения глубинных структур и соотношения их с поверхностными структурами способом, свойственным естественному языку, попросту не обладает свойствами ассоциативной сети или набора родственных привычек; поэтому никакое усовершенствование принципов разработки подобных структур не может быть подходящим для задачи создания устройства усвоения языка.

До сих пор я не сказал чего-либо определенного об учении о существовании врожденных идей и врожденных принципов различных типов, которые определяют характер того, что может быть узнано, причем по-видимому достаточно ограниченным и высоко организованным способом. Согласно традиционной точке зрения, условие приведения в действие данных врожденных механизмов состоит в том, чтобы предоставить соответствующее побуждение. Это побуждение предоставляет разуму возможность применить определенные врожденные интерпретирующие принципы, определенные понятия, которые происходят скорее из самой «власти понимания» ('power of understanding'), из способности думать, нежели из каких-либо внешних объектов. В качестве типичного примера рассмотрим отрывок из Декарта («Ответ автора на возражения», V): «...Когда мы в раннем детстве впервые увидели треугольник, начертанный на бумаге, эта фигура не могла нам объяснить, каким образом следует понимать истинный треугольник — такой, который рассматривают геометры, — поскольку этот последний содержался в указанной выше фигуре не более, чем Меркурий — в простом куске дерева. Но так как еще раньше в нас была идея истинного треугольника, и наш ум мог постигнуть ее с большей легкостью, чем более сложную фигуру начертанного треугольника, при виде этого последнего мы воспринимали не столько ее самое, сколько истинный треугольник» [Haldane and Ross, vol. II, 227]³⁾. Идея треугольника является в этом смысле врожденной. Для Лейбница врожденными являются некоторые принципы (в целом, бессознательные), которые «входят в наши мысли, душу

³⁾ Цит. по рус. пер.: [Декарт 1994, 297]. — Прим. ред.

и связь которых они составляют»⁴⁾. «Идеи и истины врождены нам подобно склонностям, предрасположениям, привычкам или естественным потенциям»⁵⁾. Опыт служит для того, чтобы выявить, а не сформировать, эти врожденные структуры. Сходные взгляды подробно развиваются и в рационалистической теоретической психологии.

Мне кажется, что обсуждавшиеся выше выводы относительно природы усвоения языка находятся в полном соответствии с учением о врожденных идеях, понимаемой таким образом, и могут рассматриваться как предоставляющие своего рода подтверждение и дальнейшее развитие этого учения. Конечно, подобное предложение поднимает нетривиальные вопросы исторической интерпретации.

Достаточно ясным мне представляется то, что нынешнее положение дел с исследованием обучения языку и других аспектов интеллектуальных достижений человека, сравнимых по сложности, выглядит следующим образом. Мы имеем некоторое количество данных о грамматиках, которые должны являться выходом модели усвоения. Эти данные ясно показывают, что знание языка не может возникнуть в результате пошаговых индуктивных операций (процедур сегментации, классификации, подстановки, а также «аналогии», ассоциации, обусловливания и т. п.) какого бы то ни было вида, разрабатывавшихся или обсуждавшихся в лингвистике, психологии или философии. Последующие эмпирические размышления не добавили ничего такого, что хотя бы в чем-то предлагало способ преодоления ограничений, внутренне присущих тем методам, которые выдвигались и разрабатывались до сих пор. Более того, не существует каких-либо иных оснований продолжать эти эмпирические размышления и избегать того нормального утверждения, свободного от теоретических предубеждений, которое можно сформулировать перед лицом эмпирических свидетельств того рода, как описано выше. В частности, в психологии или физиологии не известно ничего такого, что заставляло бы думать, будто эмпирический подход хорошо обоснован, либо что давало бы какие-либо основания для скептицизма относительно обрисованной выше рационалистической альтернативы.

Дальнейшее обсуждение вопроса исторической интерпретации см. в [Chomsky 1965, ch. 1] и [Chomsky 1966]. Дальнейшее обсуждение затронутых здесь проблем см. также в [Chomsky 1962; Katz 1966; Postal 1966], а также подборку в разделе VI книги [Fodor and Katz (eds.) 1964].

⁴⁾ Цит. по рус. пер.: [Лейбниц 1983, 85]. — Прим. ред.

⁵⁾ Цит. по рус. пер.: [Лейбниц 1983, 52]. — Прим. ред.

(b) «Гипотеза врожденности» и объяснительные модели в лингвистике*

Х. Путнам

1. Гипотеза врожденности

«Гипотеза врожденности» (далее Г. В.) — это смелая — или кажущаяся таковой гипотеза; она может оказаться бессодержательной, в таком случае она не является смелой; эта гипотеза выдвинута Ноамом Хомским. Я отдаю долг благодарности Хомскому за то, что он неоднократно раскрывал передо мной Г. В.; в последующем изложении я в значительной мере опираюсь на его личные сообщения; и я заранее прошу у него прощения, если я в какой-либо мере искажаю Г. В. или неверно представляю какие-либо доводы в пользу нее. В дополнение к тому, что я опирался на личное общение с Хомским, я опирался также на его работу «Объяснительные модели в лингвистике» [Chomsky 1962], в которой Г. В. играет значительную роль.

Итак, начнем с того, что Г. В. является гипотезой о том, что человеческий мозг с рождения «запрограммирован» в некоторых достаточно своеобразных и структурированных аспектах естественного человеческого языка. Подробности этой запрограммированности раскрываются более детально в «Объяснительных моделях в лингвистике». Нам следует допустить, что у говорящего имеется «встроенная» (built in)⁶⁾ функция, которая приписывает веса грамматикам G_1, G_2, G_3, \dots из некоторого класса Σ трансформационных грамматик. Σ не является

* Putnam Hilary. The «Innateness hypothesis» and explanatory modes in linguistics.

⁶⁾ Что означает «встроенная», в данном контексте в высшей степени неясно. Весовая функция (weighting function) сама по себе определяет только относительную легкость, с которой различные грамматики могут быть выучены человеком. Если грамматика G_1 может быть выучена более легко, чем грамматика G_2 , то несомненно она является «врожденной», имея в виду факт, касающийся *возможностей* человеческого обучения, в противоположность факту, касающемуся того, что именно было выучено. Именно такого типа факты пытается описать теория обучения (learning theory); поиск объяснения не ведется. Следует отметить, что Хомский никогда не предлагал даже схематического описания того типа устройства, которое, как предполагается, имеется в мозгу и выполняет работу по отбору наиболее высоко оцененной грамматики, совместимой с данными. Однако только описание, или по крайней мере теория такого устройства могла бы быть названа именно *гипотезой врожденности*.

классом всех возможных трансформационных грамматик; скорее все члены Σ имеют некоторые весьма сходные свойства. Эти сходные свойства имеют вид «языковых универсалий» — т. е. характеристик, присущих всем естественным языкам. Если бы существовала разумная внеземная жизнь — скажем, марсиане, — и если бы эти «марсиане» говорили бы на языке, грамматика которого не принадлежит к подклассу Σ класса всех трансформационных грамматик, тогда, на чем, как я слышал, настаивал Хомский, люди (за исключением, возможно, нескольких гениев или экспертов-лингвистов) были бы неспособны выучить марсианский язык; человеческий ребенок, выращенный марсианами, не смог бы усвоить язык; и марсиане, в свою очередь, испытывали бы похожие трудности с человеческими языками. (Возможные трудности с произношением здесь не важны, и их можно считать несуществующими для целей данного обсуждения.) В качестве примеров сходных свойств (выше уровня фонетики), которыми, как предполагается, обладают все грамматики подкласса Σ , мы можем упомянуть различие *актив-пассив*, существование фрагмента грамматики *без структуры составляющих* (*non-phrase-structure*), наличие таких основных категорий, как *конкретное имя существительное*, *глагол с абстрактным подлежащим* и т. п. Программа ограничения класса Σ может быть описана также как программа определения *нормальной формы для грамматик*. И обратно, согласно Хомскому, любая нетривиальная форма для грамматик, такая что правильные и четкие грамматики всех человеческих языков могли и должны были бы быть написаны в этой нормальной форме, «в сущности представляет собой гипотезу относительно врожденного интеллектуального оснащения ребенка» [Chomsky 1962, 550].

При наличии сильно *ограниченного* класса Σ грамматик (сильно ограниченного в том смысле, что грамматики за пределами данного класса вполне возможны, они не более «сложны» в каком-либо абсолютном смысле, чем грамматики в рамках этого класса, и могли бы вполне быть использованы говорящими, не являющимися людьми, если бы таковые обнаружили) действия человеческого ребенка при изучении его родного языка может пониматься, по Хомскому, следующим образом. Как можно полагать, он оперирует с такими типами «входов» [Chomsky 1962, 530–531]: списком высказываний, включающем как грамматичные, так и неграмматичные предложения; списком исправлений, который позволяет ему классифицировать входящие предложения как грамматичные или неграмматичные; и некоторую информацию относительно того, какие высказывания считаются *повторениями* более ранних высказываний. Немного упрощая, мы можем сказать, что в данной модели ребенку предоставляется

список грамматических типов предложений и список неграмматических типов предложений. Затем он «выбирает» из Σ совместимую с этой информацией грамматику, которой его весовая функция приписывает наибольший вес. В рамках данной схемы общая форма грамматики не выучивается на основе опыта, а является «врожденной», и «упорядочение по правдоподобию» грамматик, совместимых с полученными данными наподобие упомянутых выше, также является «врожденной».

Довольно о том, что касается формулировки Г. В. Если эта формулировка осталась у меня во многих пунктах расплывчатой, то это, как мне кажется, не случайно — ибо Г. В. представляется мне существенно и безнадежно расплывчатой — но и такая формулировка может послужить для того, чтобы показать, какую точку зрения я трактую как безнадежно расплывчатую.

Пары замечаний может быть достаточно для того, чтобы дать некоторое представление о роли, которую Г. В., как ожидается, должна играть в лингвистике. Лингвистика в большой степени опирается, согласно Хомскому, на «интуитивные оценки» грамматичности. Но интуитивными оценками чего именно являются интуитивные оценки «грамматичности»? Согласно Хомскому, тот тип теоретических построений (theory-construction), который был тезисно обрисован выше, и есть все, что необходимо для того, чтобы дать на этот вопрос единственный ответ, который он может или заслуживает иметь. Вероятно, в таком случае, «постигать интуитивно» (или утверждать, предполагать и т. п.), что предложение является грамматичным, означает «постигать интуитивно» (или утверждать, предполагать и т. п.), что предложение порождено наиболее высоко оцененной G_1 из класса Σ , которая такова, что она порождает все грамматичные типы предложений, которые были нам предоставлены во «входе», и никакие из неграмматичных типов предложений, перечисленных во «входе»⁷⁾.

Хомский говорит также, что G_1 , которая получает наивысшую оценку, должна обеспечивать больше, чем согласовываться с «интуитивными суждениями» грамматичности; она должна, например, объяснять некоторые неоднозначности⁸⁾. В то же самое время Хом-

⁷⁾ Я сомневаюсь, что ребенку в действительности сообщают, какие из предложений, которые он слышит или произносит, являются неграмматичными. В лучшем случае ему сообщают, какие из них являются отклоняющимися от нормы — но ему, возможно, не сообщают, какие из них отклоняются от нормы синтаксически, а какие семантически.

⁸⁾ Многие типы неоднозначности — например, предполагаемая «неоднозначность» выражения *the shooting of the elephants was heard* 'было слышно, как стреляли по слонам' [видимо, имеется в виду возможность прочтения 'было слышно, как стреляли слоны'. — Прим. перев.] — требуют тренировки для того, чтобы их обнаружить. Тем самым, утвер-

ский, к сожалению, не приводит никакой семантической информации во входе, и он предполагает [Chomsky 1962, 531, сн. 5], что ребенку нужна семантическая информация только для того, чтобы «обеспечить мотивацию для выучивания языка», а не для того, чтобы прийти к *формальной* грамматике его языка. Тогда, по-видимому, тот факт, что грамматика, которая согласуется с достаточным количеством «входных данных», должна принадлежать классу Σ , чтобы быть «выбранной» ребенком, исключает грамматики, которые порождают все грамматичные предложения данного естественного языка, и только их, но не способна корректно «предсказать»⁹⁾ неоднозначности (ср. [Chomsky 1962, 533]).

В дополнение к разъяснению того, что *должно* являться грамматичным, Хомский полагает, что Г. В. ставит перед лингвистами следующие задачи: *определить* нормальную форму для описанных выше грамматик и *определить* весовую функцию. В «Синтаксических структурах» Хомский, в сущности, подает это как цель лингвистической теории: дать *действительную* процедуру для выбора между конкурирующими грамматиками.

Наконец, предполагается, что Г. В. обосновывает утверждение о том, что лингвист выдвигает «гипотезу о врожденном интеллектуальном оснащении, которое ребенок начинает использовать в процессе обучения языку» [Chomsky 1962, 530]. Конечно, даже если язык *полностью* выучен, остается верным то, что лингвистика «характеризует языковые способности взрослого говорящего» [Chomsky 1962, 530] и что грамматику «можно было более верно называть объяснительной моделью языковой интуиции носителя языка» [Chomsky 1962, 533]. Однако, можно столь же справедливо сказать, что пособие по вождению «характеризует способности к вождению машины взрослого водителя» и что запись вычислений представляет собой «объяснительную модель интуитивных суждений математика о вычислениях». Понятно, что именно представление о том, что *эти* способности и *эти* интуитивные суждения, так сказать, наиболее близки к человеческой сущности, и придает лингвистике ее «сексуальную привлекательность», по крайней мере для Хомского,

ждение о том, что грамматика «объясняет способность обнаруживать неоднозначности», не обладает той внушительностью, которая у него есть, по мнению Хомского. Я благодарен Полу Циффу и Стивену Лидсу за то, что они привлекли мое внимание к данному обстоятельству.

⁹⁾ В формализме Хомского, грамматика «предсказывает» неоднозначность в случае, если она приписывает два или более структурных описания одному и тому же предложению.

II. Предполагаемые свидетельства в пользу Г. В.

Ряд эмпирических фактов или мнимых эмпирических фактов выдвигался для подтверждения Г. В. Поскольку ограниченность места не дает возможности описать их здесь все, придется удовольствоваться несколькими примерами.

(а) *Легкость* первоначального обучения ребенка языку. «Маленький ребенок способен достичь совершенного владения языком с несравнимо большей легкостью [чем взрослый. — Х. П.] и без какого-либо явного обучения. Как кажется, нахождение в языковой среде, причем на необыкновенно короткий период, это все, что требуется нормальному ребенку для развития компетенций природного носителя» [Chomsky 1962, 529].

(б) Тот факт, что подкрепление (reinforcement), «в каком-либо интересном смысле слова», не представляется необходимым для обучения языку. Некоторые дети, по-видимому, научились говорить не *разговаривая*¹⁰⁾, и затем в относительно позднем возрасте проявили эту способность перед ошарашенными взрослыми, которые уже считали их немymi.

(в) Утверждается, что способность «развить компетенцию природного носителя» не зависит от уровня его умственных способностей. Даже дети с весьма низким коэффициентом умственного развития «усваивают» грамматику своего родного языка.

(г) «Языковые универсалии», упомянутые в предыдущем разделе, якобы объясняются Г. В.

(д) Наконец, имеется конечно и тот «аргумент», который звучит как «что же еще могло бы объяснить овладение языком?» Эта задача столь невероятно сложна (как говорят, подобно выучиванию, хотя бы неявному, замысловатой физической теории), что было бы чудом, если бы хотя бы десятой части рода человеческого она оказалась под силу без «врожденной» поддержки. (Все это походит на «доказательство» Маркса его трудовой теории стоимости в III томе «Капитала», которое звучит, в сущности, как «Что же еще могло бы объяснить тот факт, что товары имеют различную стоимость, кроме того факта, что их трудоемкость различна?»)

¹⁰⁾ Говорят, первыми словами Макося (Macaulay) были: «Спасибо, сударыня, боль несколько прунутихла» (сказано женщине, которая пролила на него чай).

III. Критика мнимых свидетельств

А. Несущественность языковых универсалий

1. Ни для какой теории они не удивительны

Давайте рассмотрим, насколько удивительными являются в действительности «языковые универсалии», процитированные выше. Для этого представим себе сообщество марсиан, чье «врожденное интеллектуальное оснащение» предположительно настолько отличается от человеческого, насколько это совместимо с их способностью вообще говорить на каком-то языке. Что мы могли бы ожидать увидеть в их языке?

Если мозги марсиан не слишком сильно превосходят наши по сложности, то они, как и мы, могли бы открыть для себя возможность использовать практически бесконечное множество выражений лишь в том случае, если эти выражения обладают «грамматикой» — т. е. если они построены по рекурсивным правилам из ограниченного набора базовых форм. Эти базовые формы не обязательно должны строиться из небольшого списка фонем — марсиане, возможно, могли бы обладать гораздо большей емкостью памяти, чем мы, — но если для марсиан, как и для нас, механическое заучивание (*rote learning*) оказалось бы трудным, то не было бы удивительно, если бы и в их языках имелись *короткие* списки фонем.

Являются предшествующие размышления аргументами в *за* пользу или *против* Г. В.? Мне кажется трудным ответить на этот вопрос. Если *такова* вера во «врожденное интеллектуальное оснащение», то как *в принципе* Г. В. может быть ложной? Как мог бы кто-либо без какого-либо врожденного интеллектуального оснащения *выучить* что-либо? *Бесспорно*, «врожденное интеллектуальное оснащение» человека релевантно для выучивания языка, если это означает, что решающую роль играют такие параметры, как объем памяти и емкость памяти. Но разве бихевиористы любого ранга когда-либо отрицали *это*? Но с другой стороны, утверждение о том, что некоторое мощное произвольное множество Σ грамматик «встроено» в мозг *как* марсиан, *так и* людей, *не* является гипотезой, которую нам необходимо выдвигать для объяснения *этих* базовых сходств.

Но для каких сходных свойств выше уровня фонетики, где по очевидным причинам большую роль играют структурные факторы (*constititional factors*), понадобилось бы прибегать к Г. В., *кроме как* в том тривиальном смысле, что емкость памяти, умственные способности, потребности, интересы и т. п. важны для обучения языку и все они отчасти зависят от биологического строения организма? Если марсиане

окажутся странными существами, которых не интересуют, например, физические объекты, то в их языке не будет конкретных существительных; но разве не было бы это *более*, а не *менее* удивительно, при сколько-нибудь *разумном* взгляде на вещи, чем наличие у них интереса к физическим объектам? (Разве было бы удивительным, если бы в марсианском языке имелись способы образования функций истинности и способы квантификаций?)

Здесь важно в подробностях рассмотреть еще два вопроса. Хомский указал на то, что ни один естественный язык не обладает грамматикой структуры составляющих. Но и это не кажется удивительным. Предложение *John and Jim came home quickly* 'Джон и Джим быстро пришли домой' в формализации английской грамматики по Хомскому не порождается правилом структуры составляющих. Но предложение *John came home quickly and Jim came home quickly* 'Джон быстро пришел домой и Джим быстро пришел домой' порождается по правилу структуры составляющих в грамматике математической логики, и знаменитая «сочинительная трансформация» (and-transformation) Хомского является попросту правилом сокращения. Аналогично, предложение *That was the lady I saw you with last night* 'Это была леди, с которой я вас видел вчера вечером' не порождается правилом структуры составляющих в английском языке, или по крайней мере в описании английского языка по Хомскому. Но предложение *That is ιx (x is a lady and I saw you with x last night)* 'Это ιx (x это леди и я видел вас с x вчера вечером)' порождается по правилу структуры составляющих в грамматике математической логики. И опять же, естественное английское предложение может быть получено из его эквивалента со структурой составляющих по простому правилу сокращения. Является ли действительно удивительным и указывает ли действительно на что-либо более интересное, чем *общие умственные способности*, тот факт, что данные операции, которые нарушают границы грамматики структуры составляющих, наблюдаются в каждом естественном языке? ¹¹⁾

¹¹⁾ Другим примером трансформации является трансформация «актив-пассив» ('active-passive' transformation) (ср. «Синтаксические структуры»). Однако (а) наличие этой трансформации, если она является частью грамматики, не удивительно — почему же не должно существовать систематического способа выражения *обратного* отношения? — и (б) аргументы в пользу самого наличия такой трансформации являются чрезвычайно скудными. Утверждается, что грамматика, которая «определяет» активные и пассивные формы раздельно (что может быть сделано даже грамматикой структуры составляющих) не способна представить нечто, что знает любой говорящий, а именно то, что активная и пассивная формы соотносятся определенным образом. Но почему же любое соотношение должно отображаться в синтаксисе? Любая «говорящий» на классических языках математической логики осознает, что каждое предложение (x) ($Fx \supset Gx$) соотносится с предложением (x) ($\bar{G}x \supset \bar{F}x$); однако определение «правильно построенной формулы» в этом отноше-

Опять же, на первый взгляд может показаться удивительным, что такие категории, как существительное, глагол, наречие и др., имеют «универсальное применение». Но как показал Карри (Curry), здесь слишком легко умножить число «фактов». Если в языке имеются существительные — то есть категория структуры составляющих, которая содержит имена собственные — то в нем имеются и именные группы, то есть группы, которые заполняют окружение существительных. Если в нем имеются именные группы, в нем имеются и глагольные группы — группы, которые при сочетании в подходящей конструкции с именной группой образуют предложение. Если в нем имеются глагольные группы, в нем имеются и наречные группы — группы, которые при сочетании с глагольной группой дают тоже глагольную группу. Сходным образом, группы прилагательного и пр. могут быть определены в терминах двух базовых категорий «имя существительное» и «предложение». Поэтому все, что подлежит объяснению, это наличие существительных. И это сводится к объяснению двух фактов: (1) того факта, что в грамматике всех естественных языков содержится большая доля правил структуры составляющих в только что проиллюстрированном смысле, несмотря на тот эффект, который Хомский называет «трансформациями»; (2) того факта, что во всех естественных языках есть имена собственные. Но (1) не является удивительным ввиду того, что правила структуры составляющих представляют собой чрезвычайно простые алгоритмы. Возможно Хомский ответил бы на это, что «простота» является здесь субъективной, но это вовсе не так. Дело в том, что все естественные оценки сложности алгоритма — размеры машинной таблицы, длина вычислений, время и место, необходимое для вычисления — приводят здесь к одному и тому же результату, совершенно независимо от деталей устройства используемой вычислительной машины. Разве удивительно, что алгоритмы, которые являются «наиболее простыми» для практически любой вычислительной системы, которую мы можем себе представить, являются также наиболее простыми для естественно развившихся «вычислительных систем»? А (2) — тот факт, что во всех естественных языках есть имена собственные — не удивителен ввиду полезности таких имен и трудности всякий раз находить четкое описание, которое было бы достаточно вместо них.

Повторю, «врожденные» факторы *бесспорно* важны — если выбор простых алгоритмов в качестве основы грамматики является «врожденным» и если необходимость опознавать людей покончит на чем-то врожденном — но кто из бихевиористов мог или должен был бы уди-

ник не способен отразить то, что «знает каждый говорящий», и при этом оно не является неадекватным при данном подходе.

виться этому? Человеческий мозг это вычислительная система, и он подвластен некоторым из ограничений, которые затрагивают все вычислительные системы; для людей естественно интересоваться друг другом. Если это и есть «врожденность» — что ж, прекрасно!

2. *Языковые универсалии можно объяснить, даже если они удивительны, без приращения Г. В.*

Предположим, что люди, использующие язык, появились *независимо* в двух или более местах. Тогда, если бы Хомский был *прав*, должно было существовать два или более *типа* людей, произошедших от двух или более исходных популяций, причем обычные дети каждого типа популяций были бы неспособны выучить язык, на котором говорили другие типы. Поскольку мы не наблюдаем этого, поскольку существует только *один* класс Σ , встроенный в мозги *всех* людей, мы вынуждены заключить (если Г. В. верна), что использование языка — это эволюционный «скачок», который произошел лишь *однажды*. Но в этом случае чрезвычайно вероятно, что все человеческие языки произошли от единственного исходного языка и что существование сегодня так называемых «неродственных» языков объясняется огромным промежутком времени и бесчисленными историческими изменениями. И, в самом деле, это похоже на правду даже если Г. В. неверна, поскольку, как сейчас по большей части считается, сам человеческий вид произошел в результате единственного эволюционного «скачка» и поскольку популяция людей была чрезвычайно мала и компактна на протяжении тысячелетий и лишь постепенно распространилась из Азии на другие континенты. Таким образом, даже если считать, что скорее использованию языка обучились или изобрели его, нежели что оно «встроено», или даже если считать, что «встроена» была только некоторая предрасположенность в направлении использования языка¹²⁾, то вероятно, что какая-то одна группа людей первой создала язык таким, как мы его знаем, и затем он распространился посредством завоеваний или имитации на остальную часть человеческой популяции. И в самом деле, как известно, именно таким образом распространилось *алфавитное* письмо. В любом случае, повторю, данная гипотеза — о единичном происхождении человеческого языка — является бесспорным *требованием* Г. В., но при этом она гораздо слабее, чем Г. В.

Однако одного этого *следствия* из Г. В., в сущности, достаточно для объяснения «языковых универсалий»! Поскольку, если все человеческие

¹²⁾ Было бы трудно объяснить такие явления, как спонтанный лепет младенцев, без подобной «врожденности». Но это не то же самое, что утверждать, что класс Σ и функция f являются «встроенными», как этого требует Г. В.

языки произошли из общего предка, тогда как раз и можно было бы ожидать, что сохранятся такие весьма полезные свойства этого предка, как наличие квантификаторов какого-либо вида, собственных имен, существительных и глаголов и т. п. Случайное изменение может, конечно, многое переделать; но то, что ему не удалось лишить язык собственных имен, или нарицательных существительных, или квантификаторов, не настолько удивительно, чтобы требовать привлечения Г. В.

В. «Легкость» выучивания языка не ясна

Рассмотрим немного поближе «легкость», с которой дети выучивают свою родную язык. Типичный «взрослый» студент колледжа, серьезно изучающий иностранный язык, проводит на лекциях по три часа в неделю. За четырнадцать недель семестра он, тем самым, сорок два часа соприкасается с этим языком. За четыре года он может получить более 300 часов языка, лишь небольшая часть которых записывается в реальном слушании носителей. Напротив, по оценке преподавателей — сторонников «прямого метода», 300 часов прямого метода обучения позволяют начать свободно говорить на иностранном языке. Разумеется, 600 часов — скажем, 300 часов обучения прямым методом и 300 часов чтения — позволяют взрослому с легкостью говорить и читать на иностранном языке и использовать несравнимо больший словарный запас, нежели у маленького ребенка.

На это могут возразить, что взрослый не приобретает безупречное произношение. И что с того? Ведь взрослый говорил всю свою жизнь одним определенным образом, и ему предстоит отучиться от огромного множества привычек. То, что с таким же успехом можно объяснить теорией обучения, не следует упоминать в качестве свидетельства в пользу Г. В.

Так вот, ребенку к тому времени, как ему исполняется четыре или пять лет, доступно гораздо большее количество времени, нежели 600 часов обучения прямым методом. Более того, даже если «подкрепление» не является необходимым, большинство детей сознательно и неоднократно «подкрепляются» взрослыми массой способов — например, постоянным повторением простых однословных предложений («чашка», «собачка») в присутствии малышей. Несомненно, любой взрослый иностранец, который бы провел все эти годы вместе с ребенком, несравнимо лучше овладел бы языком, чем ребенок. Конечно, у ребенка будет лучше произношение. И кроме того, грамматические ошибки ребенка, которые многочисленны, происходят не из неполного излечения от привычек, связанных с предшествующим языком, а из недостаточного усвоения их первого набора. Однако мне кажется, что рассмотрение

этого в качестве «свидетельства» в пользу Г. В. переворачивает факты с ног на голову.

С. Дело не в «подкреплении»

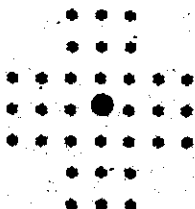
Как понимает и Хомский, сегодня есть лишь скудные свидетельства в пользу того, что любой процесс обучения требует подкрепления «в каком-либо существенном смысле». Капабланка, например, научился играть в шахматы, просто наблюдая за тем, как играют взрослые. Это сопоставимо с тем, как Маколею удалось выучить язык, не разговаривая. Не гениям, как правило, все же требуется практика как для того, чтобы правильно говорить, так и для того, чтобы играть в шахматы. И все же, вероятно, кто угодно мог бы научиться говорить или играть в шахматы без практики, если бы ему не давали открыть рта, в первом случае, или ему не позволялось бы играть, во втором, при возможности достаточно длительного наблюдения.

Д. Независимость от интеллектуального уровня — артефакт

Любой ребенок обучается говорить на родном языке. Что это означает? Если это означает, что дети не делают серьезных грамматических ошибок, даже по стандартам дескриптивных грамматик, в противоположность прескриптивным, то это попросту неверно для маленьких детей. К девяти или десяти годам этот процесс, возможно, прекращается (я говорю это как родитель), однако девять или десять лет — достаточный срок для того, чтобы вполне хорошо выучить *что угодно*. Более серьезно то, что значит «грамматика» в данном случае. Сюда не включается ни владение словарем, в чем даже многие взрослые люди испытывают недостаток, ни способность понимать *сложные* конструкций, в чем многие взрослые *также* испытывают трудности. Это означает просто-напросто способность выучить то, что выучивает каждый *нормальный* взрослый. Каждый нормальный взрослый выучивает то, что выучивает каждый взрослый. Так что данный «аргумент» сводится к: «О боже! Как же сложен тот навык, которому обучается каждый нормальный взрослый. Каким же еще он может быть, кроме как *врожденным*». Как и предшествующий довод, он сводится к аргументу «Что же еще?».

Но как насчет аргумента «Что же еще»? Насколько были бы мы поражены неспособностью современных теорий обучения объяснить сложные процессы обучения, подобные тем, что входят в обучение языку? Если Врожденность была бы *общим* решением, то возможно мы были бы поражены. Но Г. В. *не может*, по самой своей сути, быть обобщенной до такой степени, чтобы справиться со всеми сложными

процессами обучения. Рассмотрим следующую головоломку (которая называется «солитер» ('jump')):



В начале заполнены все отверстия, кроме центрального. Цель игры состоит в том, чтобы удалить все фишки, кроме одной, «перепрыгивая» (как в шашках) через них, так чтобы в конце осталась единственная фишка в центре. Умный человек сможет решить эту задачу, возможно, после восьми или десяти часов экспериментирования. Не столь умный человек сможет получить «почти-решение» — так, что останутся две фишки — за то же время. Не существует, насколько мне известно, никакой программы, которая позволила бы компьютеру найти даже «почти-решение» без превышения как времени, так и пространства, даже при том, что машина может провести в экспериментировании срок, аналогичный многим жизням человека. Когда мы обращаемся к открытию даже простейших математических теорем, ситуация становится еще более поразительной. Теоремы математики, решение головоломок и т. п. ни в какой теории не могут быть «врожденными» *индивидуально*; «врожденной» должна быть эвристика, т. е. стратегии обучения. В отсутствие какого-либо знания даже о том, как могут выглядеть общие многоцелевые обучающие стратегии, полностью необоснованно утверждение о том, что такие стратегии (которые, безусловно, должны существовать и использоваться всеми людьми) не могут объяснить тот или иной процесс обучения и что ответ или схема ответа должен быть «врожденным».

Конечно, мне скажут, что все обучаются своему родному языку (и все действительно делают это) и не все решают головоломки или доказывают теоремы. Но при этом все обучаются распознаванию образов, вождению автомобилей и т. п., и любой человек в действительности может решить многие задачи, которые не способен решить ни один компьютер. В беседах Хомский неоднократно использовал именно подобные способности, чтобы поддержать идею о том, что люди обладают «врожденным концептуальным пространством». Что ж, прекрасно, если это верно. Но от этого не легче. Если угодно, можно допустить, что врожденным является *полный курс обучения в Оксфордском университете*

XVII века; но все же решение «солитера» не было врожденным; Теорема о числе простых чисел не была врожденной, и так далее. Обращение к «Врожденности» лишь откладывает в сторону проблему обучения, оно не решает ее. Пока мы не поймем те стратегии, которые делают возможным общее обучение — и здесь совершенно бесполезны туманные разговоры о «классе гипотез» и «весовой функции» — никакое обсуждение пределов обучения не может быть даже начато.

(с) Эпистемологический спор*

Н. Гудман

(Джейсон привез от кочевников Дальней Кантабридии¹³⁾ нечто, в чем Антикуе усматривает скорее руно, нежели завоето.)

Антикус: Расскажите мне о воскрешении.

Джейсон: По прошествии нескольких веков теория Врожденных Идей была реанимирована и возведена на престол в качестве единственного адекватного объяснения некоторых поразительных фактов относительно человеческой языковой способности.

А.: Каких фактов?

Дж.: В первую очередь того, что все естественные языки, какими бы различными они ни были по происхождению и поверхностному облику, имеют некоторые примечательные общие свойства.

А.: Но разве необычно то, что элементы какой-либо совокупности имеют некоторые примечательные общие свойства? В нескольких случайных раздачах колоды карт за вечер мы, несомненно, сможем обнаружить какие-нибудь особые сходства; однако мы не считаем, что они ставят перед нами проблему.

Дж.: Конечно, это утверждение является гораздо более сильным: любой язык, который может быть усвоен человеком, обладает данными свойствами.

А.: Я могу представить, что стоило бы немалых трудов овладеть языком с алфавитом из миллиона букв и со словами не менее миллиона букв длиной. Но разве это требует какого-либо развернутого объяснения?

Дж.: Свойства, о которых идет речь, это более интересные свойства грамматической формы и значения.

А.: Тогда утверждение действительно является вполне конкретным (material) и проверяемым. Как я предполагаю, эти кочевники создали языки, в которых данные свойства отсутствуют, и все их самые ревностные попытки обучить этим языкам людей потерпели

* Goodman Nelson. The epistemological argument.

¹³⁾ По-видимому, намек на г. Кембридж, штат Массачусетс (США), где находится Массачусетский технологический институт, основной центр исследований по порождающей грамматике. — *Прим. перев.*

неудачу. Это кажется мне не только примечательным, но и невероятным; ибо человеческий разум поражает меня как достаточно гибкий (*agile*) для того, чтобы выучить уже знакомый ему язык в практически любой его трансформации или искажении, при наличии соответствующего обучения и объяснения.

Дж.: Я был к ним несправедлив. Они придерживаются лишь того мнения, что ни один язык без тех свойств, о которых идет речь, не может быть усвоен человеком в качестве *первичного* (*initial*) языка. Если один язык уже имеется в распоряжении и может быть использован для объяснения и обучения, то ограничения преодолеваются.

А.: Это отвечает на мое возражение; однако теперь я озадачен тем, как они предлагают проверить это утверждение экспериментально. Разве могут они на самом деле взять только родившегося ребенка, изолировать его от любых влияний нашей тесно связанной с языком культуры и попытаться привить ему один из таких «плохих» (*bad*) искусственных языков?

Дж.: Нет. Они охотно признают, что это невозможно было бы сделать. Свое утверждение они рассматривают как гипотезу, не подлежащую непосредственной экспериментальной проверке подобного рода, но подкрепляемой дополнительными соображениями и свидетельствами.

А.: Очень хорошо; утверждается, что определенные суждения о свойствах языков, которые могут быть первично усвоены, являются правдоподобными, и определенные объяснения проливают на это свет. Однако пока мы говорили расплывчато об «определенных свойствах» или «свойствах, о которых идет речь». Если нам предстоит оценить правдоподобность, мы несомненно должны иметь более четкую формулировку или иллюстрацию того, каковы именно эти свойства.

Дж.: Мои информанты не всегда достаточно ясно описывают их. Они то и дело упоминают некоторые общие грамматические свойства; но я знаю, вы скажете, что каждое из них было приспособлено для того, чтобы соответствовать известным естественным языкам, и выводится скорее из концептуального аппарата, который мы применяем к данным языкам, нежели из каких-либо примечательных сходств между ними. Однако один пример, который может показаться вам убедительным, связан с изобретенным языком, который называется «грублинский» (*Grubleen*). Он отличается от обычного английского только тем, что в нем имеются предикаты *grue* (со значением 'обследованный до *t* и зеленый или не обследованный таким образом и синий') и *bleen* (со значени-

ем 'обследованный до *t* и синий или не обследованный таким образом и зеленый') вместо предикатов *green* 'зеленый' и *blue* 'синий'¹⁴). Утверждается, что хотя говорящий на обычном английском языке может быть обучен использовать грублинский, ни один человек не мог бы усвоить грублинский в качестве первичного языка.

А.: При этом, как вы говорите, едва ли здесь можно ожидать экспериментального подтверждения. Но меня беспокоит и другое. Предположим, что теперь мы имеем перед собой пример языка, который не может быть усвоен подобным образом. И все же, в чем состоит общее различие между языками типа грублинского и типа английского? По вашему выражению линия я понимаю, что вы полностью осознаете всю трудность ответа на этот вопрос. Пока, как мне кажется, мы пришли к выводу, во-первых, о том, что обсуждаемое нами утверждение не может быть проверено экспериментально, даже если у нас имеется признанный образец «плохого» языка, и во-вторых, о том, что данное утверждение не было даже сформулировано настолько, чтобы назвать хотя бы одно общее свойство «плохих» языков.

Дж.: Тем не менее, важные предположения на ранних этапах зачастую не могут быть ни точно сформулированы, ни проверены в действительности. Сказанное вами не убеждает меня в том, что данное утверждение следует отвергнуть. Если оно достаточно многообещающее и побуждает к размышлению, нам следует скорее содействовать его исследованию и развитию.

А.: Вы правы в принципе; однако на этот раз у меня нет стремления экспериментировать, поскольку это утверждение представляется мне дискредитированным предшествующими соображениями.

Дж.: Какими, например?

А.: Мы называем языком достаточно разработанную и замысловатую символическую систему. Не думаете ли вы, Джейсон, что до усвоения языка человеку приходится серьезно практиковаться в создании и использовании зачаточных доязыковых символических систем, в которых роль знаков играют жесты и всевозможные сенсорные и перцептивные явления?

Дж.: Да; но речь идет об усвоении языка.

¹⁴ «Предикаты *green* и *blue* (и состоящее из их объединения название языка *Grubleen*) созданы из сочетаний начальных и конечных частей глг, прилагательных *green* 'зеленый' и *blue* 'синий' (соотв. *gr-* + *-ee* и *bl-* + *-ee*). В русском языке им соответствовало бы что-то вроде *зеий* (< *зе-* + *-ий*) и *сиий* (< *си-* + *-ий*). — Прим. перев.

- А.: Однако, как вы помните, реально проблема касается первичного усвоения языков; как только один язык имеется в распоряжении, усвоение прочих идет относительно просто.
- Дж.: Это правда; но наверняка вы не называете эти зачаточные системы языками.
- А.: Нет, не называю; но я предлагаю считать, что на легкость, с которой мы переходим от одной символической системы к другой, не сильно влияет то, считается языком каждая из них, одна из них или ни одна; что усвоение первичного языка это усвоение вторичной символической системы; и что поскольку мы не обнаруживаем никаких интересных ограничений на то, что мы можем усвоить в качестве вторичного языка, у нас нет оснований полагать, что подобные ограничения накладываются на то, что мы можем усвоить в качестве вторичной символической системы. Другими словами, когда усвоение первичного языка представляется как усвоение вторичной символической системы, утверждение о том, что существуют строгие ограничения на усвоение первичного языка лишается правдоподобия вследствие того факта, что таких ограничений на усвоение вторичного языка нет.
- Дж.: Боюсь, то, что вы говорите, подрывает также и второе утверждение: что усвоение первичного языка происходит удивительно быстро.
- А.: Да. Если бы язык был первой усваиваемой символической системой и считалось бы, что процесс усвоения начинается с первым явным (overt) использованием слов, то предполагаю, что это могло бы вызвать у нас некоторое удивление. Но если усвоение первого языка это всего лишь переход от уже усвоенной символической системы к другой системе, которой нас обучают, то это гораздо более легкий шаг. С другой стороны, если предполагать, что процесс усвоения первого языка начинается с первым использованием символов, тогда он должен начинаться фактически с рождения, занимая большой отрезок времени.
- Дж.: Разве все это попросту не возвращает вопрос от характера языков, которые могут быть усвоены, к характеру символических систем, которые аналогичным образом могут быть усвоены? Я подозреваю, что здесь мы обнаружили бы примечательное единообразие и удивительную скорость усвоения.
- А.: Нам, бесспорно, было бы гораздо труднее сделать это. Немногие из невыразительных свидетельств, приводимых относительно языков, были бы здесь уместны; и очевидно, мы не можем доказывать это в обратном направлении от единообразия языка к единообразию доязыковой системы. Нам бы пришлось исследовать символы,

которые не являются явными и четкими, но скорее недоступными и неопределенными. И поскольку языковые системы являются вероятнее всего фрагментарными, равно как и зачаточными, мы бы столкнулись с проблемой установления того, когда система усвоена. А экспериментирование при всех этих трудностях должно было бы начаться с использования символов после момента рождения. Однако едва ли мне нужно опровергать ваши подозрения. Скорее здесь теория требует фактов, нежели факты требуют теории.

Дж.: Ваши возражения более убедительны относительно моего неадекватного изложения, нежели относительно духа и сути того, что я пытаюсь излагать. Оставьте софистику; неужели вы не находите в человеческом поведении ничего настолько поразительного, что требовало бы специального объяснения?

А.: Мне приходят на ум некоторые примечательные факты поведения, которые не нуждаются в объяснении, подобном теории врожденных идей.

Дж.: Например?

А.: Скажем, я сразу же научился падать, когда меня роняют, и, более того, падать точно по направлению к центру земли, независимо от того, где меня уронили.

Дж.: И для данного примечательного факта нам необходима теория — теория гравитации.

А.: Набор законов, которые подводят это поведение под очень общее описание; однако я не склонен приписывать знание этих законов падающим объектам.

Дж.: Но это механическое поведение, общее для одушевленных и неодушевленных объектов. Живые существа подчиняются более специфическим законам, формулируемым в терминах других понятий. А люди в своем когнитивном поведении подчиняются еще более специфическим законам, которые требуют отсылки к врожденным идеям.

А.: Ваша скорость просто поразительна. Давайте рассмотрим все это не так быстро. Хотите ли вы сказать, что человеческое мышление объяснимо только при предположении, что разум с самого начала снабжен интерпретацией некоторых символов? Если это означает лишь то, что он заданным способом реагирует на определенные символы, то это предполагает такую точку зрения на разум, которую мы бы оба отвергли. Примечательным мне кажется не заданность, но скорее гибкость разума; его способность приспосабливаться, настраиваться, преобразоваться; то, как он усматривает единство в разнообразии, постоянство среди нестабильности, как

он изобретает, скорее нежели подчиняется. Разум не просто отзывается на стимул; он идет наощупь. Нашупывание и схватывание, поиск и нахождение кажутся мне более характерными для разума, чем какое бы то ни было считывание программы.

Дж.: Вы, берклианцы, всегда излишне подчеркиваете нашупывание.

А.: А вы, лейбнизианцы, всегда излишне подчеркиваете предопределение.

Дж.: Вот мы и перешли от придирчивого анализа к слишком общей метафоре, а теперь и к оскорблениям! Но если серьезно, то мне кажется, что как раз те способности разума, которые вы превозносите, могут быть объяснены только посредством врожденных идей.

А.: Мы обращали пока гораздо меньше внимания на то, как выглядит теория, чем на то, что она должна объяснять. Предположим теперь, что для некоторых примечательных фактов у меня нет никакого альтернативного объяснения. Разумеется, это само по себе не обязывает нас принять любую теорию, которая была бы предложена; ибо эта теория может оказаться еще худшей, чем отсутствие теории. Неспособность объяснить факт не обрекает меня на то, чтобы принять по сути противоречивую и невразумительную теорию. Теперь я делаю вывод, что предложенная здесь теория состоит в том, что некоторые идеи внедрены в разум в качестве исходного оснащения.

Дж.: Приблизительно так.

А.: И, являясь идеями, являются ли они осознанными?

Дж.: Нет, не обязательно; и как правило — нет.

А.: Значит, они находятся в подсознании (subconscious mind), воздействуя на когнитивные процессы, и способны становиться полностью осознаваемыми?

Дж.: И это тоже не так. У меня может не быть вообще никакого прямого доступа к ним. Возможно, в своем собственном разуме я могу их обнаружить только теми же методами, используя какие кто-то другой может сделать вывод о том, что они у меня есть, или я сделаю вывод, что они есть у него.

А.: Тогда я в замешательстве. Кажется, вы говорите, что эти врожденные идеи не являются ни врожденными, ни идеями.

Дж.: Врожденными являются не понятия, образы, формулы или картины, но скорее «склонности, предрасположенности, привычки или естественные возможности».

А.: Но я считал, что это идеи были привлечены для объяснения способностей. Если утверждается только то, что разум обладает определенными склонностями и способностями, то в чем обоснование того, что ты называешь их идеями?

Дж.: Обоснование здесь историческое. Декарт и Лейбниц пользовались термином «врожденные идеи» именно в этом смысле. Но в конце концов, значение имеет теория, а не термин «врожденные идеи».

А.: В таком случае, зачем направлять все усилия на историческое обоснование? И почему согласившись с тем, что данный термин является сомнительным, и признав, что он не обязателен, люди продолжают пользоваться им? По совершенно непреодолимой, хотя не очень достойной причине, которая состоит в том, что пока применяется термин «врожденные идеи», отстаивается та достаточно тривиальная истина, что разум обладает определенными способностями, склонностями, ограничениями. Как только мы применяем этот термин в его хоть сколько-нибудь нормальном употреблении, данный тезис становится далеко не очевидным; но к сожалению, он при этом становится неверным или бессмысленным. Джон Локк предельно четко прояснил все это.

Дж.: Опять же, я боюсь, что не был достаточно аккуратен. Вместе того, чтобы отождествлять врожденные идеи со способностями и т.п., мне, вероятно, следовало бы сказать, что эти идеи существуют подобно врожденным или являются «врожденными подобно» таким способностям.

А.: Несколько минут назад вы обвиняли меня в софистике; но я склоняю голову перед тонкостью этого последнего утверждения. Отправляйтесь снова, Джейсон, и привезите мне все загадки идей, врожденных подобно способностям. Тогда, если хотите, мы сможем снова беседовать о необоснованных предположениях, требующих объяснений через невероятные и непроверяемые гипотезы, которые гипостазируют идеи, врожденные в уме подобно идеям¹⁵⁾.

¹⁵⁾ Н. Хомский обращается к критическим статьям Х. Путнэма и Н. Гудмана в книге «Язык и мышление», где разбирает позиции обоих авторов и, в частности, отмечает: «оба они, по-моему, неправильно понимают проблемы, но их мысли поучительны с точки зрения тех неправомерных предположений, которые они обнаруживают»; см. подробнее [Хомский 1972б, 98–103].

Цитированная литература

- Austin 1962a — Austin J. L. How to do things with words. N. Y.: Oxford University Press, 1962. (Рус. пер.: Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М.: Прогресс, 1986.)
- Austin 1962b — Austin J. L. How to do things with words. Oxford: Clarendon Press, 1962.
- Chomsky 1955 — Chomsky N. The Logical Structure of Linguistic Theory. Unpublished manuscript, Microfilm M. I. T. Library. Cambridge, Mass., 1955.
- Chomsky 1957 — Chomsky N. Syntactic Structures. The Hague: Mouton & Co, 1957.
- Chomsky 1958 — Chomsky N. A Transformational Approach to Syntax // Proceedings of the Third Texas Conference on Problems of Linguistic Analysis in English on May 9–12, 1958. Ed. A. Hill. Texas, 1962a. P. 124–158.
- Chomsky 1962 — Chomsky N. Explanatory Models in Linguistics // Logic, Methodology, and Philosophy of Science. Eds. E. Nagel, P. Suppes, and A. Tarski. Stanford, 1962.
- Chomsky 1964 — Chomsky N. Current Issues in Linguistic Theory. The Hague, 1964.
- Chomsky 1965 — Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass., 1965.
- Chomsky 1966 — Chomsky N. Cartesian Linguistics. New York, 1966.
- Chomsky, Halle 1965 — Chomsky N. and Halle M. Some Controversial Questions in Phonological Theory // Journal of Linguistics, 1, 1965. P. 97–138.
- Chomsky, Halle and Lukoff 1956 — Chomsky N., Halle M., and Lukoff F. On Accent and Juncture in English // For Roman Jakobson. Eds. M. Halle, H. Lunt, and H. MacLean. The Hague, 1956. P. 65–80.
- Fillmore 1963 — Fillmore C. J. The Position of Embedding Transformations in a Grammar // Word, 19, 1963. P. 208–231.
- Fodor and Katz 1964 — Fodor J., and Katz J. (eds.) The Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall Inc., 1964. P. 479–518.
- Frege 1952 — Frege G. Sense and Reference // Frege G. Philosophical writings. Oxford: Blackwell, 1952.
- Grice 1957 — Grice H. P. Meaning // Philosophical Review, 1957, 66. P. 377–388.
- Grice 1957/1967 — Grice H. P. Meaning // Philosophical Review, 1957 (перепечатано в: Strawson, P. F. (ed.) Philosophical Logic. London: Oxford Univ. Press, 1967).

- Haldane, Ross* 1955 — Haldane and Ross, vol. II. The philosophical works of Descartes. Trans. E. S. Haldane and G. R. T. Ross. NY, 1955.
- Halle* 1959 — Halle M. The Sound Pattern of Russian. The Hague, 1959.
- Halle* 1962 — Halle M. Phonology in a Generative Grammar // *Word*, 18, 1962. P. 54–72.
- Halle* 1964 — Halle M. On the Bases of Phonology // *Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language*. Fodor J. and Katz J. (eds.) Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall Inc., 1964. P. 324–333.
- Harris* 1952 — Harris Z. Discourse Analysis // *Language*, 28, 1952. P. 18–23.
- Harris* 1954 — Harris Z. Distributional Structure // *Word*, 10, 1954. P. 146–162.
- Harris* 1957 — Harris Z. Co-occurrence and Transformation in Linguistic Structure // *Language*, 33, 1957. P. 283–340.
- Hockett* 1958 — Hockett C. F. A Course in Modern Linguistics. New York, 1958.
- Householder* 1965 — Householder Jr. F. W. On Some Recent Claims in Phonological Theory // *Journal of Linguistics*, 1, 1965. P. 13–34.
- Jakobson, Fant and Halle* 1952 — Jakobson R., Fant G., and Halle M. Preliminaries to Speech Analysis. Cambridge, Mass., 1952.
- Jespersen* 1924 — Jespersen O. Philosophy of Grammar. London, 1924. (Рус. пер.: Еспенсен О. Философия грамматики. М.: УРСС, 2002.)
- Katz, Fodor* 1962 — Katz J. J. & Fodor, J. A. What's wrong with the Philosophy of Language // *Inquiry*, V, 1962. P. 197–237.
- Katz, Fodor* 1963 — Katz J. J. & Fodor, J. A. The Structure of a Semantic Theory // *Language*, XXXIX, 1963. P. 170–210.
- Katz, Postal* 1964 — Katz J. J. & Postal, P. M. An Integrated Theory of Linguistic Description. Cambridge, Mass.: Mass. Institute of Technology Press, 1964.
- Katz* 1966 — Katz J. J. The Philosophy of Language. N. Y.: Harper and Row, 1966.
- Katz* 1967a — Katz J. J. Recent Issues in Semantic Theory // *Foundations of Language*, vol. 3, № 2, 1967. P. 124–194.
- Katz* 1967b — Katz J. J. Some Remarks on Quine on Analyticity // *The Journal of Philosophy*, vol. LXIX, 1967. P. 36–52.
- Klima* 1964 — Klima E. S. Negation in English // *Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language*. Fodor J. and Katz J. (eds.) Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall Inc., 1964. P. 246–323.
- Lees* 1957 — Lees R. B. Review of Chomsky N. Syntactic Structures. The Hague, 1957 // *Language*, 33, 1957. P. 375–408.
- Lees* 1960 — Lees R. B. The Grammar of English Nominalizations. Bloomington, 1960.
- Miller, Chomsky* 1963 — Miller G. A. and Chomsky N. Finitary Models of Language Users // *Handbook of Mathematical Psychology*, vol. II. Eds. R. D. Luce, R. Bush, and E. Galanter. New York, 1963.
- Polanyi* 1960 — Polanyi M. Personal Knowledge. Chicago: Chicago Univ. Press, 1960.

- Postal* 1964 — Postal P. *Constituent Structure: A Study of Contemporary Models of Syntactic Description*. The Hague, 1964.
- Postal* 1964a — Postal P. M. *Constituent Structure*. Publication Thirty of The Indiana Univ. Research Centre in Anthropology. Bloomington, 1964.
- Postal* 1964b — Postal P. M. *Underlying and Superficial Linguistic Structures* // *The Harvard Educational Review*, XXXIV, 1964.
- Postal* 1966 — Postal P. M. *Review of A. Martinet, Elements of General Linguistics*. 1966.
- Quine* 1953 — Quine W. V. *Two Dogmas of Empiricism* // Quine, W. V. *From the Logical Point of View*. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1953.
- Rawls* 1955 — Rawls J. *Two concepts of rules* // *Philosophical Review*, 1955, 64.
- Reichling* 1961 — Reichling A. *Principles and Methods of Syntax: Cryptoanalytical Formalism* // *Lingua* 10, 1961. P. HC-1-7.
- Rosenbaum* 1965 — Rosenbaum P. A. *Grammar of English Predicate Complement Constructions*. Unpublished Ph. D. dissertation. M. I. T., 1965.
- Russell* 1905 — Russell B. *On Denoting* // *Mind*, 1905 (непечатано в: *Readings in philosophical analysis* New York: Appleton-Centry-Crofts Inc., 1949).
- Searle* 1958 — Searle J. R. *Russell's Rejection of Frege's Theory of Sense and Reference* // *Analysis*, 1958.
- Searle* 1969 — Searle J. R. *Speech Acts, An Essay in the Philosophy of Language*. London and New York: Cambridge Univ. Press, 1967.
- Searle* 1964 — Searle J. R. *How to derive «Ought» from «Is»* // *Philosophical Review*, 1964, 73.
- Smith* 1961 — Smith C. S. *A Class of Complex Modifiers in English* // *Language*, XXXVII, 1961. P. 342-365.
- Strawson* 1950/1956 — Strawson P. F. *On Referring* // *Mind*, 1950 (непечатано в: *Flew, (ed.). Essays in Conceptual Analysis*. London: Macmillan, 1956).
- Wittgenstein* 1953 — Wittgenstein L. *Philosophical Investigations*. Oxford: Blackwell, 1953.
- Wittgenstein* 1961 — Wittgenstein L. *Tractatus logico-philosophicus*. London: Routledge & Kegan Paul, 1961.
- Арно, Лансло* 1990; 1998 — Арно А., Лансло К. *Грамматика общая и рациональная* Пор-Рояля. М., 1990; 1998.
- Арно, Лансло* 1991 — Арно А., Лансло К. *Всеобщая рациональная грамматика (Грамматика Пор-Рояля)*. Л., 1991.
- Витгенштейн* 1958 — Витгенштейн Л. *Логико-философский трактат*. М.: ИЛ, 1958.
- Декарт* 1994 — Декарт Рене. *Возражения некоторых ученых мужей против изложенных выше «Размышлений» с ответами Декарта* // *Декарт Рене. Сочинения в двух томах*. Т. 2. М.: Мысль, 1994.

- Лейбниц 1983 — Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии // Лейбниц Г. В. Сочинения в четыре тома. Т. 2. М.: Мысль, 1983.
- Якобсон, Фант, Халле 1962 — Якобсон Р., Фант Г., Халле М. Введение в анализ речи. Различительные признаки и их корреляты // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.
- Якобсон, Халле 1962 — Якобсон Р., Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.

Библиография

1. Книги

(1) Современные классические труды по философии языка

Frege G. Philosophical writings, trans. P. T. Geach and M. Black. Oxford: Blackwell, 1952 (рус. пер.: Фреге Г. Избранные работы. М., 1997; Логика и логическая семантика. М., 2000; Логические исследования. Томск, 1997).

Russell B. Lectures on the philosophy of logical atomism, перепечатано в Russell B. Logic and knowledge, ed. R. C. Marsh. London: Alien & Unwin, 1956.

Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus, trans. D. F. Pears and B. F. McGuinness. London: Routledge & Kegan Paul, 1961 (рус. пер.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958).

Wittgenstein L. Philosophical investigations. Oxford: Blackwell, 1953 (рус. пер.: Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М., 1986; Философские работы. Ч.1-2. М., 1994).

(2) Недавно вышедшие работы

Alston W. The philosophy of language. New Jersey: Prentice Hall, 1964.

Austin J. L. How to do things with words. Oxford: Clarendon Press, 1962 (рус. пер.: Остин Д. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. М., 1986; Как производить действия при помощи слов. М., 1999).

Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1965 (рус. пер.: Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972).

Geach P. T. Reference and generality. Ithaca: Cornell University Press, 1962.

Katz J. J. The philosophy of language. New York: Harper & Row, 1966.

Quine W. V. O. Word and object (Technology Press and John Wiley & Son, New York and London, 1960) (рус. пер.: Куайн У. В. О. Слово и объект (гл. I и V) // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. М., 1986; Слово и объект. М., 2000).

Russell B. An inquiry into meaning and truth. London: Alien & Unwin, 1948 (рус. пер.: Рассел Б. Исследование значения и истины. М., 1999).

Searle J. R. Speech acts. London and New York: Cambridge University Press, 1969 (рус. пер.: Сёрл Дж. Р. Что такое речевой акт?: Классификация речевых актов; Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М., 1986).

Strawson P. F. Individuals. London: Methuen, 1959.

Ziff P. Semantic analysis. Ithaca: Cornell University Press, 1960.

II. Статьи по отдельным темам

(1) Референция и теория дескрипций

- Donellan K. S. Reference and definite descriptions // *Philosophical review*, 1966.
- Frege G. Sense and reference // *Philosophical writings*, trans. P. T. Geach and M. Black. Oxford: Blackwell, 1962 (рус. пер.: Фреге Г. Избранные работы. М., 1997).
- Russell B. On Denoting // *Mind* (1905); перепечатано в *Readings in philosophical analysis*, ed. H. Feigl and W. Sellars. New York: Appleton-Century-Crofts Inc., 1949 (рус. пер.: Рассел Б. Философия логического анализа. Томск, 1999); Mr. Strawson on referring // *Mind* (1957).
- Strawson P. F. On referring // *Mind* (1950), перепечатано в *Essays in conceptual analysis*, ed. A. G. N. Flew. London: Macmillan, 1956 (рус. пер.: Стросон П. Ф. О референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982); Identifying reference and truth values // *Theoria*, 1964.

(2) Речевые акты и пропозиции

- Alston W. Linguistic acts // *American philosophical quarterly*, 1965.
- Austin J. L. Performative utterances // *Philosophical papers*. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Cartwright R. Propositions // *Analytical philosophy*, ed. R. J. Butler. Oxford: Blackwell, 1962.
- Cohen L. J. Do illocutionary forces exist? // *Philosophical quarterly*, 1964.
- Geach P. Assertion // *Philosophical review*, 1965.
- Lemmon E. J. Sentences, statements and propositions // *British analytical philosophy*, ed. B. A. O. Williams and A. C. Montefiore. London: Routledge & Kegan Paul, 1966.
- Searle J. R. Austin on locutionary and illocutionary acts // *Philosophical review*, 1968.
- Teichman J. Propositions // *Philosophical review*, 1961.

Значение

- Cavell S. Must we mean what we say? // *Inquiry* (1958), перепечатано в *Ordinary language*, ed. V. Chappell. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1964.
- Davidson D. Truth and meaning // *Synthese*, 1967.
- Grice H. P. Meaning // *Philosophical review* (1957), перепечатано в *Philosophical logic*, ed. P. F. Strawson. London: Oxford University Press, 1967.
- Ryle G. The theory of meaning // *British philosophy in mid-century*, ed. C. A. Mace. New York: Macmillan, 1957.
- Shwayder D. Uses of language and uses of words // *Theoria* (1960), перепечатано в *The theory of meaning*, ed. G. H. R. Parkinson. London: Oxford University Press, 1968.
- Stampe D. W. Toward a grammar of meaning // *Philosophical review*, 1968.

(4) Истинность

- Austin J. L.* Truth // *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supp. vol. (1950), перепечатано в *Truth*, ed. G. W. Pitcher. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1964.
- Dummett M.* Truth // *Proceedings of the Aristotelian Society* (1958–9), перепечатано в *Philosophical logic*, ed. P. F. Strawson. London: Oxford University Press, 1967.
- Strawson P. F.* Truth // *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supp. vol. (1950), перепечатано в *Truth*, ed. G. W. Pitcher. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1964.
- Strawson P. F.* Truth: a reconsideration of Austin's views // *Philosophical quarterly*, 1965.
- Tarski A.* The semantic conception of truth // *Philosophy and phenomenological research* 1944, перепечатано в H. Feigl and W. Sellars, *Readings in philosophical analysis*. New York: Appleton-Century-Crofts Inc., 1949.
- (5) *Философские аспекты порождающей грамматики*
- Boyd J. and Thorne J. P.* The semantics of modal verbs // *Journal of linguistic studies*, 1969.
- Chomsky N.* Current issues in linguistic theory // *The structure of language*, ed. J. J. Katz and J. A. Fodor. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1964 (рус. пер.: Хомский Н. Логические аспекты лингвистической теории // *Новое в лингвистике*. Вып. IV. М., 1965).
- Harman G.* Psychological aspects of the theory of syntax // *The journal of philosophy*, 1967.
- Katz J. J.* Analyticity and contradiction in natural languages // *The structure of language*, ed. J. J. Katz and J. A. Fodor. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1964.
- Kiparsky P. and Kiparsky C.* Fact // *Recent advances in Linguistics*, eds. Bierwisch and Heidolph. The Hague: Mouton, 1969.
- (6) *Аналитические пропозиции*
- Bennett J.* Analytic-synthetic // *Proceedings of the Aristotelian Society* (1958–9).
- Putnam H.* The analytic and the synthetic // *Minnesota studies in the philosophy of science*, vol III. Minneapolis: University of Minn. Press, 1962.
- Quine W. V. O.* Two dogmas of empiricism // *From a logical point of view*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1953.
- Strawson P. F.* Propositions, concepts, and logical truth // *Philosophical quarterly*, 1957.
- Strawson P. F. and Grice H. P.* In defense of a dogma // *Philosophical review*, 1956.
- (7) *Разное*
- Black M.* Metaphor // *Models and metaphors*. New York: Cornell University Press, 1961.
- Geach P. T.* Subject and predicate // *Mind*, 1950.
- Toulmin S. and Baier K.* On describing // *Mind*, 1952.

Именной указатель

Андерсон (Anderson) 132
Аристотель (Aristotle) 148, 159, 160, 164
Арно А. (Arnaud A.) 121, 126, 200

Бах А. (Bach A.) 132
Блэк М. (Black M.) 56, 59, 202–204

Витгенштейн Л. (Wittgenstein L.) 7, 9, 11–13, 22, 65, 108, 150, 200, 202

Галантер Е. (Galanter E.) 199
Грибс Г. П. (Grice H. P.) 9, 15–19, 42–45, 52, 54, 63, 65, 71, 75, 198, 204

Декарт Р. (Descartes R.) 148, 167, 176, 197, 200

Есперсен О. (Jespersen O.) 103, 199

Карнап Р. (Carnap R.) 7, 20, 150, 158, 159

Карри Р. Б. (Curry R. B.) 185
Катц Дж. (Katz J.) 20, 21, 100, 104, 119, 120, 123–126, 129, 133, 141, 142, 146, 152, 154, 157, 159, 163, 177, 198, 199, 202, 204

Клима Э. С. (Klima E. S.) 124, 199
Куайн У. В. О. (Quine W. V. O.) 7, 20, 22, 144, 158, 159, 200, 202, 204

Лайонз Дж. (Lyons J.) 61
Лансело К. Л. (Lancelot Cl.) 121, 126, 200

Лейбниц Г. В. (Leibniz G. W.) 167, 176, 197, 201

Лидс С. (Leeds S.) 181
Лиз Р. Б. (Lee R. B.) 100, 111, 118, 124, 126, 199
Локк Дж. (Locke J.) 197
Лукофф Ф. (Lukoff F.) 100, 120, 198
Льюис К. И. (Lewis C. I.) 62
Льюс Р. Д. (Luce R. D.) 199

Маркс К. (Marx K.) 182
Мартинет А. (Martinet A.) 200
Миллер Дж. А. (Miller G. A.) 102, 130, 140, 153, 199
Милль Дж. С. (Mill J. S.) 7
Мэттьюз Г. (Matthews G. H.) 132

Найджел Е. (Nagel E.) 198

Остин Дж. Л. (Austin J. L.) 7, 13–16, 22, 23, 35–39, 41, 44–48, 52, 54, 56, 198, 202, 203

Платон 7, 148
Поланы М. (Polanyi M.) 20, 199
Постал П. (Postal P.) 100, 104, 111, 119, 120, 122, 124–126, 129, 131, 133, 146, 151, 152, 177, 199, 200
Путнам Х. (Putnam H.) 21, 178, 197, 204

Райл Г. (Ryle G.) 150, 203
Рассел Б. (Russell B.) 7, 9–11, 14, 21, 150, 200, 202, 203
Рейхенбах К. (Reichenbach H.) 62
Рейчлинг А. (Reichling H.) 101, 200
Розенбаум П. (Rosenbaum P.) 118, 200
Ролз Дж. (Rawls J.) 59, 200
Росс Дж. Р. Т. (Ross G. R. T.) 176, 199

- Саппс П. (Suppes P.) 198
Сёрл Дж. Р. (Searle J. R.) 6, 9, 16, 42,
56, 59, 200, 202, 203
Смит Ч. С. (Smith C. S.) 153, 200
Стокуэлл Р. (Stokwell R.) 132
Стросон П. Ф. (Strawson P. F.) 7,
14–17, 21, 35, 42, 198, 200,
202–204
Тарский А. (Tarski A.) 198, 204
Фант Г. (Fant G.) 120, 133, 199, 201
Фергюсон Ч. А. (Ferguson C. A.) 100
Филлмор Ч. Дж. (Fillmore C. J.) 126,
127, 198
Фодор Дж. (Fodor J.) 100, 104, 120,
123–125, 133, 142, 154, 177, 198,
199, 204
Фреге Г. (Frege G.) 7–10, 12–14, 62,
198, 200, 202, 203
Халле М. (Halle M.) 100, 114, 115,
120, 133, 198, 199, 201
Харрис З. З. (Harris Z. S.) 121, 199
Харт Г. Л. А. (Hart H. L. A.) 44
Хаусхолдер Ф. У. (Householder F. W.)
100, 114, 115, 199
Холдейн Е. С. (Haldane E. S.)
176, 199
Хоккет Ч. Ф. (Hockett C. F.)
108, 199
Хомский Н. (Chomsky N.) 19–22,
99, 100, 102, 108, 110–112,
116–125, 130–132, 135–140,
146, 151–153, 167, 177–181,
184–186, 188, 189, 197–199, 202,
204
Хэар Р. М. (Hare R. M.) 62
Цифф П. (Ziff P.) 181, 202
Шахтер П. (Schachter P.) 132
Шеффер Г. М. (Sheffer H. M.)
62
Якобсон Р. (Jacobson R.)
133, 201

Издательство УРСС

специализируется на выпуске учебной и научной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Российской Академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.



Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!

Основываясь на широком и плодотворном сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом, мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю работу по подготовке издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования и распространения.

Среди вышедших и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:

Лайонз Дж. Язык и лингвистика.

Пинкер С. Язык как инстинкт.

Камфорд Дж. К. Лингвистическая теория перевода.

Гринберг Дж. Введение в антропологическую лингвистику.

Хомский Н., Миллер Дж. Введение в формальный анализ естественных языков.

Чейф У. и др. Текст: аспекты изучения. Семантика. Прагматика. Поэтика.

Современная американская лингвистика. Под ред. Кибрика А. А. и др.

Барт Р. S/Z. Бальзаковский текст (опыт прочтения).

Библихин В. В. Слово и событие.

Береговская Э. М. Очерки по экспрессивному синтаксису.

Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и марризм.

Ягелло М. Алиса в стране языка.

Ажеж К. Человек говорящий. Вклад лингвистики в гуманитарные науки.

Кузнецов В. Г. Железская лингвистическая школа: от Соссюра к функционализму.

Серия «Лингвистическое наследие XX века»

Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики.

Чейф У. Л. Значение и структура языка.

Блумфилд Л. Язык.

Шахматов А. А. Синтаксис русского языка.

Матезиус В. Избранные труды по языкознанию.

Балли Ш. Французская стилистика.

Балли Ш. Упражнения по французской стилистике.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка.

Порцин В. Членение индоевропейской языковой области.

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков.

Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании.

Шрадер О. Сравнительное языковедение и первобытная история.

Савченко А. Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков.

Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию.

Дальбрук Б. Введение в изучение языка.

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам:
тел./факс (095) 135-44-23, 135-42-46
или электронной почтой URSS@URSS.ru
Полный каталог изданий представлен
в Интернет-магазине: <http://URSS.ru>

Издательство УРСС

Научная и учебная
литература

Издательство УРСС



Представляет Вам свои лучшие книги:

Серия «Женевская лингвистическая школа»

Балли Ш. Жизнь и язык.

Сеше А. Очерк логической структуры предложения.

Сеше А. Программа и методы теоретической лингвистики.

Серия «Новый лингвистический учебник»

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика.

Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику.

Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику.

Бурлак С. А., Старостин С. А. Введение в лингвистическую компаративистику.

Серия «Школа классической филологии»

Козаржевский А. Ч. Учебник латинского языка.

Шантрэн П. Историческая морфология греческого языка.

Нидерман М. Историческая фонетика латинского языка.

Серия «История языков народов Европы»

Бах А. История немецкого языка.

Бруннер К. История английского языка.

Доза А. История французского языка.

Мейе А. Основные особенности германской группы языков.

Бурсье Э. Основы романского языкознания.

Льюис Г., Педерсен Х. Краткая сравнительная грамматика кельтских языков.

Калыгин В. П. Язык древнейшей ирландской поэзии.

Королев А. А. Древнейшие памятники ирландского языка.

Макаев Э. А. Язык древнейших рунических надписей.

Стеблин-Каменский М. И. Древнеславянский язык.

Шиммарев В. Ф. Очерки по истории языков Испании.

Григорьев В. П. История испанского языка.

Вольф Е. М. История португальского языка.

Губер О. Введение в историю чешского языка.

Ананьева Н. Е. История и диалектология польского языка.

**Издательство
УРСС**

**(095) 135-42-46,
(095) 135-44-23,
URSS@URSS.ru**

Наши книги можно приобрести в магазинах:

«Библио-Глобус» (м. Лубянка, ул. Мясницкая, 6. Тел. (095) 825-2457)
«Московский дом книги» (м. Арбатская, ул. Новый Арбат, 8. Тел. (095) 283-8242)
«Москва» (м. Охотный ряд, ул. Тверская, 8. Тел. (095) 229-7355)
«Молодая гвардия» (м. Палкина, ул. Б. Палкина, 28. Тел. (095) 238-5063, 238-1144)
«Дом деловой книги» (м. Пролетарская, ул. Маринистская, 9. Тел. (095) 270-5421)
«Старый Свет» (м. Пушкинская, Тверской б-р, 23. Тел. (095) 202-8888)
«Гнозис» (м. Университет, 1 г-н. корпус МГУ, комн. 141. Тел. (095) 539-4713)
«У Нептара» (РГГУ) (м. Новослободская, ул. Чалова, 16. Тел. (095) 973-4301)
«СПб. дом книги» (Невский пр., 28. Тел. (812) 311-3554)

Предлагаемая читателю книга составлена известным американским философом и лингвистом Джоном Роджерсом Сёрлом и содержит статьи по различным проблемам философии языка видных ученых — Дж. Л. Остина, П. Ф. Стросона, Г. П. Грайса, Н. Хомского, Дж. Катца, Х. Путнама и Н. Гудмана. Среди поднимаемых проблем — понятие речевого акта и соотношение значения и речевого акта; теория трансформационных порождающих грамматик и ее значение для философии; обсуждение гипотезы о врожденном характере идей и эмпирической теории синтаксиса естественных языков, предложенной Хомским.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

УРСС

НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



E-mail: URSS@URSS.ru

Каталог изданий

в Internet: <http://URSS.ru>

Тел./факс: 7 (095) 135-44-23

Тел./факс: 7 (095) 135-42-46

Философия языка. Пер. с англ.
Изд. 2 Серл Дж. Р.



9 785354 012145

ID: 83573